

P32810



АПЧЕХОВ

Эмористические
рассказы

оғиз
гослитиздат
1944

ИЗДАНИЯ
ВОЕННЫХ
ЛЕТ

РУ

1941-1945



А. П. ЧЕХОВ

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ
РАССКАЗЫ



ОГИЗ

Государственное издательство
художественной литературы
Москва—1941

СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя на верху блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичик, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В стариичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! — подумал Червяков. — Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

— Извините, ваше-ство, я вас обрызгал... я нечаянно...

— Ничего, ничего...

— Ради бога, извините. Я ведь... я не желал!

— Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства большие не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:

— Я вас обрызгал, ваше-ство... Простите... Я ведь... не то чтобы...

— Ах, полноте... Я уж забыл, а вы все о том же! — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах,— подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. — И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал... что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.

— А все-таки ты сходи, извинись, — сказала она. — Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

— То-то вот и есть! Я извинялся, да он, как-то странно... Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Бризжалову объяснять... Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и

самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

— Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше-ство, — начал докладывать экзекутор, — я чихнул-с и... нечаянно обрызгал... Изв...

— Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? — обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! — подумал Червяков, бледнея. — Сердится, значит... Нет, этого нельзя так оставить... Я ему объясню...»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:

— Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.

— Да вы просто смеетесь, милостисдарь! — сказал он, скрываясь за дверью.

«Какие же тут насмешки? — подумал Червяков. — Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфороном! Чорт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день итти самому обыснять.

— Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, — забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза: — не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за

то, что, чихая, брызнул-с... а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет...

— Пошел вон!! — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.

— Что-с? — спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.

— Пошел вон!! — повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер.

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д'оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

— Батюшки! — изумился тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

— Милый мой! — начал тонкий после лобызания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах, ты господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это,

Нафания, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафания немного подумал и снял шапку.

— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий.— Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом — за то, что я ябедничать любил. Хо-хо!.. Детьми были! Не бойся, Нафания! Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка...

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга.— Служишь где? Дослужился?

— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку прощаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен, столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?

— Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал толстый.— Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся

во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира...

— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с!

— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочтание!

— Помилуйте... Что вы-с... — захихикал тонкий, еще более съеживаясь. — Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем тулowiщем и захихикал, как китаец: «хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.

В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

Хоронили мы как-то на-днях молоденькую жену нашего старого почтмейстера Сладкоперцева. Закопавши красавицу, мы, по обычаю дедов и отцов, отправились в почтовое отделение «помянуть».

Когда были поданы блины, старик-вдовец горько заплакал и сказал:

— Блины такие же румянецкие, как и покойница. Такие же красавцы! Точь-в-точь!

— Да, согласились поминавшие: — она у вас, действительно, была красавица... Женщина первый сорт!

— Да-с... Все удивлялись, на нее глядючи... Но, господа, любил я ее не за красоту и не за добрый нрав. Эти два качества присущественны всей женской природе и встречаются довольно часто в подлунном мире. Я ее любил за иное качество души. А именно-с: любил я ее, покойницу, дай бог ей царство небесное, за то, что она, при бойкости и игривости своего характера, мужу своему была верна. Она была верна мне, несмотря на то, что ей было только двадцать, а мне скоро уж шестьдесят стукнет! Она была верна мне, старику!

Дьякон, трапезовавший с нами, красноречивым мычанием и кашлем выразил свое сомнение.

— Вы не верите, стало быть? — обратился к нему вдовец.

— Не то, что не верю, — смущаясь дьякон: —

а так... Молодые жены нынче уж слинком тово...
рандеву, соус провансаль...

— Вы сомневаетесь, а я вам докажу-с! Я в ней поддерживал ее верность разными способами, так сказать, стратегического свойства, вроде как бы фортификации. При моем поведении и хитром характере жена моя не могла изменить мне ни в каком случае. Я хитрость употреблял для охранения своего супружеского ложа. Слова такие знаю, вроде как бы пароль. Скажу эти самые слова и — баста, могу спать в спокойствии насчет верности...

— Какие же это слова?

— Самые простые. Я распространял по городу нехороший слух. Вам этот слух доподлинно известен. Я говорил вся кому: «Жена моя Алена находится в сожительстве с нашим полицеймейстером Иваном Алексеичем Залихватским». Этих слов было достаточно. Ни один человек не осмеливался ухаживать за Аленой, ибо боялся полицеймейстерского гнева. Как, бывало, увидят ее, так и бегут прочь, чтоб Залихватский чего не подумал. Хе-хе-хе!.. Ведь с этим усастым идолом свяжись, так потом не рад будешь, пять протоколов составит насчет санитарного состояния. К примеру, увидит твою кошку на улице и составит протокол, как будто это бродячий скот.

— Так жена ваша, значит, не жила с Иваном Алексеичем? — удивились мы протяжно.

— Нет-с, это моя хитрость... Хе-хе... Что, ловко надувал я вас, молодежь? То-то вот оно и есть.

Прошло минуты три в молчании. Мы сидели и молчали, и нам было обидно и совестно, что нас так хитро провел этот толстый, красноносый старик.

— Ну, бог даст, в другой раз женившись! — проворчал дьякон.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки «хранится у станционного жандарма», на деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте:

«Милостивый государь! Проба пера!?

Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано:

«Ты картина, я портрет, ты скотина; а я нет. Я — морда твоя».

«Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин».

«Кто писал не знаю, а я дурак читаю».

«Оставил память начальник стола претензий Коловроев».

«Приношу начальству мою жалобу на Кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась чтоб все было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина который меня грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев».

«Никандров социалист!»

«Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка... (зачеркнуто). Проезжая

через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим... (зачеркнуто). На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки... (далее все зачеркнуто, кроме подписи). Ученик 7-го класса Курской гимназии Алексей Зудьев».

«В ожидании отхода поезда обозревал физиономию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии. Неуважающий дачник».

«Я знаю кто это писал. Это писал М. Д.».

«Господа! Тельцовский шуллер!»

«Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай, жандарм!»

«Проезжая через станцию и будучи голоден, в рассуждении чего бы покушать, я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов».

«Лопай, что дают...»

«Кто найдет кожаный портсигар тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу».

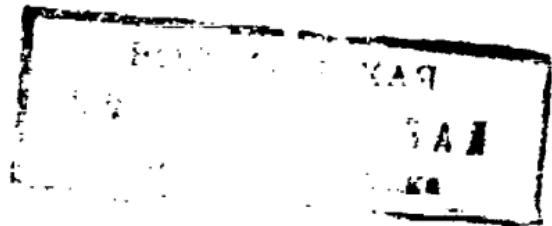
«Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Телеграфист Козьмодемьянский».

«Добродетелью украшайтесь».

«Катинька, я вас люблю безумно!»

«Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7-й».

«Хоть ты и седьмой, а дурак»,



БРОЖЕНИЕ УМОВ

(Из летописи одного города)

Земля изображала из себя пекло. Послеобедненное солнце жгло с таким усердием, что даже Реомюр, висевший в кабинете акцизного, потерялся: дошел до 35,8° и в нерешимости остановился... С обывателей лил пот, как с заезженных лошадей, и на них же засыхал; лень было вытираять.

По большой базарной площади, в виду домов с наглухо закрытыми ставнями, шли два обывателя: казначей Почешихин и ходатай по делам (он же и старинный корреспондент «Сын Отечества») Оптимов. Оба шли и по случаю жары молчали. Оптимову хотелось осудить управу за пыль и нечистоту базарной площади, но, зная миролюбивый нрав и умеренное направление спутника, он молчал.

На середине площади Почешихин вдруг остановился и стал глядеть на небо.

— Что вы смотрите, Евл Серапионыч?

— Скворцы полетели. Гляжу, куда сядут. Туча-тучей! Ежели, положим, из ружья выпалить, да ежели потом собрать... да ежели... В саду отца протоиерея сели!

— Нисколько, Евл Серапионыч. Не у отца протоиерея, а у отца дьякона Вратоадова. Если с этого места выпалить, то ничего не убьешь. Дробь мелкая и, покуда долетит, ослабнет. Да и за что их, посудите, убивать? Птица насчет

ягод вредная, это верно, но все-таки тварь, всякое дыхание. Скворец, скажем, поет... А для чего он, спрашивается, поет? Для хвалы поет. Всякое дыхание да хвалит господа. Ой, нет! Кажется у отца протоиерея сели!

Мимо беседующих бесшумно прошли три старые богомолки с котомками и в лапотках. Поглядев вопросительно на Почешихина и Оптимова, которые всматривались почему-то в дом отца протоиерея, они пошли тише и, отойдя немного, остановились и еще раз взглянули на друзей и потом сами стали смотреть на дом отца протоиерея.

— Да, вы правду сказали, они у отца протоиерея сели,— продолжал Оптимов.— У него теперь вишня поспела, так вот они и полетели клевать.

Из протопоповой калитки вышел сам отец протоиерей Восьмистишиев и с ним дьячок Евстигней. Увидев обращенное в его сторону внимание и не понимая, на что это смотрят люди, он остановился и, вместе с дьячком, стал тоже глядеть вверх, чтобы понять.

— Отец Паисий, надо полагать, на требу идет,— сказал Почешихин.— Помогай ему бог!

В пространстве между друзьями и отцом протоиереем прошли только что выкупавшиеся в реке фабричные купца Пурова. Увидев отца Паисия, напрягавшего свое внимание на высокую поднебесную, и богомолок, которые стояли неподвижно и тоже смотрели вверх, они остановились и стали глядеть туда же. То же самое сделал мальчик, ведший нищего-слепца, и мужик несший для свалки на площади боченок испортившихся сельдей.

— Что-то случилось, надо думать,— сказал Почешихин.— Пожар, что ли? Да нет, не ви-

дать дыму! Эй, Кузьма! — крикнул он остановившемуся мужику.— Что там случилось?

Мужик что-то ответил, но Почешихин и Оптимов ничего не рассыпали. У всех лавочных дверей показались сонные приказчики. Штукатуры, мазавшие лабаз купца Фертикулина, оставили свои лестницы и присоединились к фабричным. Пожарный, описывавший босыми ногами круги на каланче, остановился и, поглядев немного, спустился вниз. Каланча осиротела. Это показалось подозрительным.

— Уж не пожар ли где-нибудь? Да вы не толкайтесь! Чорт свинячий!

— Где вы видите пожар? Какой пожар? Господа, разойдитесь! Вас честью просят!

— Должно, внутри загорелось!

— Честью просит, а сам руками тычет. Не махайте руками! Вы хоть и господин начальник, а вы не имеете никакого полного права рукам волю давать!

— На мозоль наступил! А, чтоб тебя раздавило!

— Кого раздавило? Ребята, человека задавили!

— Почему такая толпа? За какой надобностью?

— Человека, ваше выскоблаародие, задавило!

— Где? Рразойдитесь! Господа, честью прошу! Честью просят тебя, дубина!

— Мужиков толкай, а благородных не смей трогать! Не прикасайся!

— Нешто это люди? Нешто их, чертей, проймешь добрым словом? Сидоров, сбегай-ка за Акимом Данилычем! Живо! Господа, ведь вам же плохо будет! Придёт Аким Данилыч, и вам же достанется! И ты тут, Парфен?! А ещё тоже слепец, святой старец! Ничего не видит, а туда

же, куда и люди, не повинуется! Смирнов, запиши Парфена!

— Слушаю! И пурковских прикажете записать? Вот этот самый, который щека распухши,— это пурковский!

— Пурковских не записывай покуда... Пурков завтра именинник!

Скворцы темной тучей поднялись над садом отца протоиерея, но Почесихин и Оптимов уже не видели их; они стояли и все глядели вверх, стараясь понять, зачем собралась такая толпа и куда она смотрит. Показался Аким Данилыч. Что-то жуя и вытирая губы, он взревел и врезался в толпу.

— Пожжарные, приготовься! Рразойдитесь! Господин Оптимов, разойдитесь, ведь вам же плохо будет! Чем в газеты на порядочных людей писать разные критики, вы бы лучше сами старались вести себя посущественней! Добру-то не научат газеты!

— Прошу вас не касаться гласности!— вспыхнул Оптимов.— Я литератор и не дозволю вам касаться гласности, хотя, по долгу гражданина, и почитаю вас, как отца и благодетеля!

— Пожарные, лей!

— Воды нет, ваше высокоблаародие!

— Не рразговаривать! Поезжайте за водой! Живааа!

— Не на чем ехать, ваше высокоблагородие. Майор на пожарных лошадях поехали ихнюю тётеньку провожать!

— Разойдитесь! Сдай назад, чтоб тебя черти взяли... Съел? Запиши-ка его, чорта!

— Карандаш потерялся, ваше высокоблагородие...

Толпа все увеличивалась и увеличивалась... Бог знает, до каких бы размеров она выросла,

если бы в трактире Грешкина не вздумали пробовать полученный на днях из Москвы новый орган. Заслышав «Стрелочка», толпа ахнула и повалила к трактиру. Так никто и не узнал, почему собралась толпа, а Оптимов и Почешихин уже забыли о скворцах, истинных виновниках происшествия. Через час город был уже недвижим и тих, и виден был только один-единственный человек — это пожарный, ходивший на каланче...

Вечером того же дня Аким Данилыч сидел в бакалейной лавке Фертикулина, пил лимонад-газес с коньяком и писал: «Кроме официальной бумаги, смею добавить, вашество, и от себя некоторое присовокупление. Отец и благодетель! Именно только молитвами вашей добродетельной супруги, живущей в благородственной даче близ нашего города, дело не дошло до крайних пределов! Столько я вынес за сей день, что и описать не могу. Распорядительность Крушенского и пожарного майора Портупеева не находит себе подходящего названия. Горжусь сими достойными слугами отечества! Я же сделал все, что может сделать слабый человек, кроме добра ближнему ничего не желающий, и, сидя теперь среди домашнего очага своего, благодарю со слезами того, кто не допустил до кровопролития. Виновные, за недостатком улик, сидят пока взаперти, но думаю их выпустить через неделю. От невежества преступили заповедь!»

ХАМЕЛЕОН

Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, до верху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти, около них нет даже нищих.

— Так ты кусаться, окаянная! — слышит вдруг Очумелов. — Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А.. а!

Сышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Сышен вторично собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.

— Никак беспорядок, ваше благородие!.. — говорит городовой.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сбогищу. Около самых ворот склада,

видит он, стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полулыном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!» да и самий палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала — белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

— По какому это слушаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. — Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?

— Иду я, ваше благородие, никого не трогаю... — начинает Хрюкин, кашляя в кулак: — насчет дров с Митрий Митричем, — и вдруг эта подлая ни с того, ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому — я этим пальцем, может, неделю не пошевельну... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете...

— Гм!.. Хорошо... — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. — Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставлю! Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу Кузькину мать! Елдырин, — обращается надзиратель к городовому: — уз-

най, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Не медля! Она наверное бешеная... Чья это собака, спрашиваю?

— Это, кажется, генерала Жигалова! — говорит кто-то из толпы.

— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас, как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину. — Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!

— Он, ваше благородие, цыгаркой ей в харю для смеха, а она, не будь дура, и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!

— Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед богом... А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в жандармах... ежели хотите знать...

— Не рассуждать!

— Нет, это не генеральская... — глубоко-мысленно замечает городовой. — У генерала таких нет. У него все больше лягавые...

— Ты это верно знаешь?

— Верно, ваше благородие...

— Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а это — чорт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И этакую собаку держать?! Где же у вас ум? Попадись эта-

кая собака в Петербурге или в Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально — не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно прокурить! Пора...

— А, может быть, и генеральская... — думает вслух городовой. — На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.

— Вестимо, генеральская! — говорит голос из толпы.

— Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака — нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

— Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?

— Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!

— И спрашивать тут долго нечего, — говорит Очумелов. — Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть и бродячая... Истребить, вот и все.

— Это не наша, — продолжает Прохор. — Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч...

— Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? — спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. — Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали?

— В гости...

— Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я, ведь, и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится шельма... цуцык этакий...

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада... Толпа хохочет над Хрюкиным.

— Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.

ВИНТ

В одну скверную осеннюю ночь Андрей Степанович Пересолин ехал из театра. Ехал он и размышлял о той пользе, какую приносили бы театры, если бы в них давались пьесы нравственного содержания. Проезжая мимо правления, он бросил думать о пользе и стал глядеть на окна дома, в котором он, выражаясь языком поэтов и шкиперов, управлял рулем. Два окна, выходившие из дежурной комнаты, были ярко освещены.

«Неужели они до сих пор с отчетом возятся? — подумал Пересолин. — Четыре их там дурака, и до сих пор еще не кончили! Чего доброго, люди подумают, что я им и ночью покою не даю. Пойду подгоню их... Остановись, Гурий!»

Пересолин вылез из экипажа и пошел вправление. Парадная дверь была заперта, задний же ход, имевший одну только испортившуюся задвижку, был настежь. Пересолин воспользовался последним и через какую-нибудь минуту стоял уже у дверей дежурной комнаты. Дверь была слегка отворена, и Пересолин, взглянув в нее, увидел нечто необычайное. За столом, заваленным большими счетными листами, при свете двух ламп, сидели четыре чиновника и играли в карты. Сосредоточенные, неподвижные, с лицами, окрашенными в зеленый цвет от абажуров, они напоминали сказочных гномов

или, чего боже избави, фальшивых монетчиков... Еще более таинственности придавала им их игра. Судя по их манерам и карточным терминам, которые они изредка выкрикивали, то был винт; судя же по всему тому, что услышал Пересолин, эту игру нельзя было назвать ни винтом, ни даже игрой в карты. То было нечто неслыханное, странное и таинственное... В чиновниках Пересолин узнал Серафима Звезднулина, Степана Кулакевича, Еремея Недоехова и Ивана Писулина.

— Как же ты это ходишь, чорт голландский, — рассердился Звездунин, с остервенением глядя на своего партнера *vis-à-vis*¹. — Разве так можно ходить? У меня на руках был Дорофеев сам-друг. Шепелев с женой да Стёпка Ерлаков, а ты ходишь с Кофейкина. Вот мы и без двух! А тебе бы, садовая голова, с Поганкина ходить!

— Ну, и что ж тогда б вышло? — окрысился партнер. — Я пошел бы с Поганкина, а у Ивана Андреича Пересолин на руках.

«Мою фамилию к чему-то приплели... — пожал плечами Пересолин. — Не понимаю!»

Писулин сдал снова, и чиновники продолжали:

— Государственный банк...

— Два — казенная палата...

— Без козыря...

— Ты без козыря? Гм!.. Губернское правление — два... Погибать — так погибать, шут возьми! Тот раз на народном просвещении без одной остался, сейчас на губернском правлении нарвусь. Плевать!

— Маленький шлем на народном просвещении!

¹ *Vis-à-vis* — напротив, друг против друга.

«Не понимаю!» — прошептал Пересолин.

— Хожу со статского... Бросай, Ваня, какого-нибудь титуляшку или губернского.

— Зачем нам титуляшку? Мы и Пересолиным хватим...

— А мы твоего Пересолина по зубам... по зубам... У нас Рыбников есть. Быть вам без трех! Показывайте Пересолиху! Нечего вам ее, каналью, за обшлаг прятать!

«Мою жену затрогали... — подумал Пересолин. — Не понимаю».

И, не желая более оставаться в недоумении, Пересолин открыл дверь и вошел в дежурную. Если бы перед чиновниками явился сам черт с рогами и с хвостом, то он не удивил бы и не испугал так, как испугал и удивил их начальник. Явясь перед ними умерший в прошлом году экзекутор, проговори он им гробовым голосом: «Идите за мной, ангелы, в место, уготованное канальям», и дыхни он на них холодом могилы, они не побледнели бы так, как побледнели, узнав Пересолина. У Недоехова от перепугу даже кровь из носа пошла, а у Кулакевича забарабанило в правом ухе и сам собою развязался галстук. Чиновники побросали карты, медленно поднялись и, переглянувшись, устроили свои взоры на пол. Минуту в дежурной царила тишина...

— Хорошо же вы отчет переписываете! — начал Пересолин. — Теперь понятно, почему вы так любите с отчетом возиться... Что вы сейчас делали?..

— Мы только на минутку, ваше-ство... — прошептал Звездунин. — Карточки рассматривали... Отдыхали...

Пересолин подошел к столу и медленно поклонился плечами. На столе лежали не карты, а

фотографические карточки обыкновенного формата, снятые с картона и наклеенные на игральные карты. Карточек было много. Рассматривая их, Пересолин увидел себя, свою жену, много своих подчиненных, знакомых...

— Какая чепуха!.. Как же вы это играете?

— Это не мы, ваше-ство, выдумали... Сохрани бог... Это мы только пример взяли...

— Объясни-ка, Звездуллин! Как вы играли? Я все видел и слышал, как вы меня Рыбниковым били... Ну, чего мнешься? Ведь я тебя не ем? Рассказывай!

Звездуллин долго стеснялся и трусил. Наконец, когда Пересолин стал сердиться, фыркать и краснеть от нетерпения, он послушался. Собрав карточки и перетасовав, он разложил их по столу и начал объяснять:

— Каждый портрет, ваше-ство, как и каждая карта, свою суть имеет... значение. Как и в колоде, так и здесь 52 карты и четыре масти... Чиновники казенной палаты — черви; губернское правление — трефы; служащие по министерству народного просвещения — бубны; а пиками будет отделение государственного банка. Ну-с... Действительные статские советники у нас тузы; статские советники — короли; супруги особ IV и V класса — дамы, коллежские советники — валеты; надворные советники — десятки, и так далее. Я, например, — вот моя карточка, — тройка, так как, будучи губернский секретарь...

— Ишь ты... Я, стало быть, туз?

— Трефовый-с, а ее превосходительство — дама-с.

— Гм! Это оригинально... А ну-ка, давайте сыграем! Посмотрю!

Пересолин снял пальто и, недоверчиво улы-

баясь, сел за стол. Чиновники тоже сели по его приказанию, и игра началась...

Сторож Назар, пришедший в семь часов утра мести дежурную комнату, был поражен. Картина, которую увидел он, войдя со щеткой, была так поразительна, что он помнит ее теперь даже тогда, когда, напившись пьян, лежит в беспамятстве. Пересолин, бледный, сонный и непричесанный, стоял перед Недоеховым и, держа его за пуговицу, говорил:

— Пойми же, что ты не мог с Шепелева ходить, если знал, что у меня на руках я сам-четверт. У Звездулена Рыбников с женой, три учителя гимназии, да моя жена, у Недоехова — банковцы и три маленьких из губернской управы. Тебе бы нужно было с Крышкина ходить! Ты не гляди, что они с казенной палаты ходят! Они себе на уме!

— Я, ваше-ство, пошел с титулярного, потому, думал, что у них действительный.

— Ах, голубчик, да ведь так нельзя думать! Это не игра! Так играют одни только сапожники. Ты рассуждай!.. Когда Кулакевич пошел с надворного губернского правления, ты должен был бросать Ивана Ивановича Гренландского, потому что знал, что у него Наталья Дмитриевна сам-третей с Егор Егорычем... Ты все испортил! Я тебе сейчас докажу. Садитесь, господа, еще один робер сыграем!

И, уставши удивленного Назара, чиновники уселись и продолжали игру.

ЗАТМЕНИЕ ЛУНЫ

(Из провинциальной жизни)

№ 1032

Циркулярио

22 сентября в 10 часов вечера имеет быть затмение планеты луны. Так как подобное явление природы не только не предосудительно, но даже поучительно в том рассуждении, что даже и планеты законам природы часто повинуются, то в видах поощрения предлагаю вам, ваше благородие, сделать распоряжение о зажжении в этот вечер в вашем участке всех уличных фонарей, дабы вечерняя темнота не мешала начальствующим лицам и жителям обозревать оное затмение, а также прошу вас, милостивый государь, строго следить, чтобы на улицах не было по сему поводу сборищ, радостных криков и прочее. О лицах, превратно истолковывающих оное явление природы, если таковые окажутся (на что я, впрочем, зная здравомыслие обывателей, не надеюсь), прошу доносить мне.

Гнилодушин.

Верно: Секретарь Трясунов.

В ответ на отношение вашего высокоблагородия за № 1032 имею честь заявить, что в моем участке уличных фонарей не имеется,

а посему затмение планеты луны произошло при полной темноте воздуха, но, несмотря на это, многими было видимо в надлежащей отчетливости. Нарушений общественной тишины и спокойствия, равно как превратных толкований и выражений неудовольствия, не было за исключением того случая, когда домашний учитель, сын дьякона Амфилохий Бабельмандебский, на вопрос одного обывателя, в чем заключается причина сего потемнения планеты луны, начал внушать длинное толкование, явно клонящееся к разрушению понятий здравого смысла. В чем же заключалось его толкование, я не понял, так как он, объясняя по предметам науки, употреблял в своих словах много иностранных выражений.

Укуси-Каланчевский.

В ответ на отношение вашего высокоблагородия за № 1032 имею честь донести, что во вверенном мне участке затмения луны не было, хотя впрочем на небе и происходило некоторое явление природы, заключавшееся в потемнении лунного света, но было ли это затмение доподлинно сказать не могу. Уличных фонарей по тщательном розыске оказалось в моем участке только три, кои после омытия стекол и очищения внутренностей были зажжены, но все эти меры не имели надлежащей пользы, так как означенное потемнение происходило тогда, когда фонари вследствие дутия ветра и проникновения в разбитые стекла потухли и следовательно не могли прояснить означенной в отношении вашего высокоблагородия темноты. Сборищ не было, так как все обыватели спали за исключением одного только писца земской управы Ивана Авелева,

который сидел на заборе и, глядя в кулак на потемнение, двухсмысленно улыбался и говорил: «По мне хоть бы и все луны не было... Наплевать!» Когда же я ему заметил, что сии слова легкомысленны, он дерзко заявил: «А ты, мымра, чего за луну заступаешься? Нешто и ее ходил с праздником поздравлять?» Причем присовокупил безнравственное выражение в смысле простонародного ругательства, о чём и имею честь донести.

Глоталов.

1881

ХИРУРГИЯ

Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чесунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки — сигара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий, коренастый старик, в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.

— А-а-а... мое вам! — зевает фельдшер. С чем пожаловали?

— С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич... К вашей милости... Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворяя». Сел намедни со старухой чай пить и — ни боже мой, ни капельки, ни синь-пороха, хоть ложись да помирай... Хлебнешь чуточку — и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону... Так и ломит, так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем

гвоздик или другой какой предмет: так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом... Студными бо окалях душу грехми и в лености житие мое иждих... За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поешь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши...

— Мда... Садитесь... Раскройте рот!

Вонмиласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.

— Отец диакон велели водку с хреном прикладывать — не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы, да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: бoga боюсь, пост...

— Предрассудок... (пауза). Вырвать его нужно, Ефим Михеич!

— Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем... На то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтобы мы вас денно и нощно, отцы родные... по гроб жизни...

— Пустяки... — скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах.— Хирургия — пустяки... Тут во всем привычка, твердость руки... Раз плонуть... Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иваныч Египетский... Тоже с зубом... Человек образованный, обо всем расспрашивает,

во все входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству... В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал... Долго мы с ним тут... Христом-богом молит: вырвите вы мне его. Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя... Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом... Кому как.

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.

— Ну-с, раскройте рот пошире... — говорит он, подходя с щипцами к дьячку. — Сейчас мы его... тово... Раз плонуть... Десну подрезать только... тракцию сделать по вертикальной оси... и все... (подрезывает десну) и все...

— Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомек, а вас господь просветил...

— Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт... Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки... Этот — раз плонуть... (накладывает щипцы). Постойте, не дергайтесь... Сидите неподвижно... В мгновение ока... (делает тракцию). Главное, чтоб поглубже взять (тянет)... чтоб коронка не сломалась...

— Отцы наши... Мать пресвятая... Ввв...

— Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (тянет). Сейчас... Вот, вот... Дело-то ведь не легкое...

— Отцы... радетели... (кричит). Ангелы! Ого... Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянем!

— Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот...

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто

дышишит... На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет... Проходят мучительнейшие полминуты — и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскаивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.

— Тянул! — говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. — Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорной! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света божьего невижу..

— А ты зачем руками хваташ? — сердится фельдшер. — Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова... Дура!

— Сам ты дура!

— Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (дразнит). «Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов... Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе говорю!

— Света невижу... Дай дух перевести... Ох! (садится). Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай... Сразу!

— Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи, вот, с этакими... очумеешь! Раскрой рот... (накладывает щипцы). Хирургия, брат, не шутка... Это не на клиросе читать... (делает тракцию). Не дергайся... Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил... (тянет). Не шевелись... Так... так... Не шевелись... Ну, ну... (слышен хрустящий звук). Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен... Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот

— Было б мне козьей ножкой... — бормочет фельдшер. — Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.

— Паршивый чорт... — выговаривает он. — Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!

— Поругайся мне еще тут... — бормочет фельдшер, кладя в шкатулку шипцы. — Невежа... Мало тебя в бурсе березой потчивали... Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался... А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит во-свойси...

МАСКА

В X-ом общественном клубе с благотворительной целью давали бал-маскарад или, как его называли местные барышни, бал-парей.

Было 12 часов ночи. Не танцующие интеллигенты без масок — их было пять душ — сидели в читальне за большим столом и, уткнув носы и бороды в газеты, читали, дремали и, по выражению местного корреспондента столичных газет, очень либерального господина, — «мыслили».

Из общей залы доносились звуки кадрили «Вьюшки». Мимо двери, сильно стуча ногами и звеня посудой, то и дело пробегали лакеи. В самой же читальне царила глубокая тишина.

— Здесь, кажется, удобнее будет! — вдруг послышался низкий, придушенный голос, который, как казалось, выходил из печки. — Валяйте сюда! Сюда, ребята!

Дверь отворилась, и в читальню вошел широкий, приземистый мужчина, одетый в кучерской костюм и шляпу с павлиньями перьями, в маске. За ним следом вошли две дамы в масках и лакей с подносом. На подносе была пузатая бутыль с ликером, бутылки три красного и несколько стаканов.

— Сюда! Здесь и прохладнее будет, — сказал мужчина. — Становь поднос на стол...

Садитесь, мамзели! Же ву при а ля тримонтран!
А вы, господа, подвиньтесь... нечего тут!

Мужчина покачнулся и смахнул рукой со стола несколько журналов.

— Становь сюда! А вы, господа читатели, подвиньтесь; некогда тут с газетами да с политикой... Бросайте!

— Я просил бы вас потише, — сказал один из интеллигентов, поглядев на маску через очки. — Здесь читальня, а не буфет... Здесь не место пить.

— Почему не место? Нешто стол качается, или потолок обвалиться может? Чудно! Но... некогда разговаривать! Бросайте газеты... Почитали малость и будет с вас; и так уж умны очень, да и глаза попортишь, а главное всего — я не желаю и все тут.

Лакей поставил поднос на стол и, перекинув салфетку через локоть, стал у двери. Дамы тотчас же принялись за красное.

— И как это есть такие умные люди, что для них газеты лучше этих напитков, — начал мужчина с павлиньями перьями, наливая себе ликеру. — А по моему мнению, вы, господа почтенные, любите газеты оттого, что вам выпить не на что. Так ли я говорю? Ха-ха!.. Читают! Ну, а о чем там написано? Господин в очках! Про какие факты вы читаете? Ха-ха! Ну, да брось! Будет тебе кочевряжиться! Выпей лучше!

Мужчина с павлиньями перьями приподнялся и вырвал газету из рук у господина в очках. Тот побледнел, потом покраснел и с удивлением поглядел на прочих интеллигентов, те — на него.

— Вы забываетесь, милостивый государь! — вспыхнул он. — Вы обращаете читальню в кабак, вы позволяете себе бесчинствовать, выры-

вать из рук газеты! Я не позволю! Вы не знаете, с кем имеете дело, милостивый государь! Я директор банка Жестяков!..

— А плевать мне, что ты — Жестяков! А газете твоей вот какая честь...

Мужчина поднял газету и изорвал ее в клочки.

— Господа, что же это такое? — пробормотал Жестяков, обомлев. — Это странно, это... это даже сверхъестественно...

— Они рассердившись, — засмеялся мужчина. — Фу-ты, ну-ты, испугался! Даже поджилки трясутся. Вот что, господа почтенные! Шутки в сторону, разговаривать с вами мне не охотно... Потому, как я желаю остаться тут с мамзелями один, и желаю себе тут удовольствие доставить, то прошу не претикословить и выйти... Пожалуйте-с! Господин Белебухин, выходи к свиньям собачьим! Что рыло наморщил? Говорю выходи, стало быть, и выходи! Живо у меня, а то гляди, не ровен час, как бы в шею не влетело!

— То есть, как же это? — спросил казначей сиротского суда Белебухин, краснея и пожимая плечами. — Я даже не понимаю... Какой-то нахал врывается сюда и... вдруг этакие вещи!

— Какое это такое слово нахал? — крикнул мужчина с павлиньими перьями, рассердившись, и стукнул кулаком по столу, так что на подносе запрыгали стаканы. — Кому ты говоришь? Ты думаешь, как я в маске, так ты можешь мне разные слова говорить? Перец ты этакий! Выходи, коли говорю! Директор банка, проваливай по добру по здорову! Все уходите, чтоб ни одной шельмы тут не осталось! Ай-да, к свиньям собачьим!

— А вот мы сейчас увидим! — сказал Жестяков, у которого даже очки вспотели от волнения.

ния. — Я покажу вам! Эй, позови-ка сюда дежурного старшину!

Через минуту вошел маленький рыженький старшина с голубой ленточкой на лацкане, запыхавшийся от танцев.

— Прошу вас выйти! — начал он. — Здесь не место пить! Пожалуйте в буфет!

— Ты откуда это выскоцил? — спросил мужчина в маске. — Нешто я тебя звал?

— Прошу не тыкать, а извольте выйти!

— Вот что, милый человек: даю тебе минуту сроку... Потому, как ты старшина и главное лицо, то вот выведи этих артистов под ручки. Мамзелям моим не нравится, ежели здесь есть кто посторонний... Они стесняются, а я за свои деньги желаю, чтобы они были в натуральном виде.

— Очевидно, этот самодур не понимает, что он не в хлеву! — крикнул Жестяков. — Позвать сюда Евстрата Спиридоныча!

— Евстрат Спиридоныч! — понеслось по клубу. — Где Евстрат Спиридоныч?

Евстрат Спиридоныч, старик в полицейском мундире, не замедлил явиться.

— Прошу вас выйти отсюда! — прохрипел он, выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабренными усами.

— А ведь испугал! — проговорил мужчина и захохотал от удовольствия. — Ей-ей, испугал! Бывают же такие страсти, побей меня бог! Усы, как у кота, глаза вытаращил... Хе-хе-хе!

— Прошу не рассуждать! — крикнул изо всей силы Евстрат Спиридоныч и задрожал. — Выйди вон! Я прикажу тебя вывести!

В читальне поднялся невообразимый шум. Евстрат Спиридоныч, красный, как рак, кричал,

стуча ногами. Жестяков кричал. Белебухин кричал. Кричали все интеллигенты, но голоса всех их покрывал низкий, густой, придушенный бас мужчины в маске. Танцы, благодаря всеобщей сумятице, прекратились, и публика повалила из залы к читальне.

Евстрат Спиридоныч для внушительности позвал всех полицейских, бывших в клубе, и сел писать протокол.

— Пиши, пиши, — говорила маска, тыча пальцем ему под перо. — Теперь что же со мной, с бедным, будет? Бедная моя головушка! За что же губите вы меня, сиротинушку? Ха-ха! Ну, что ж? Готов протокол? Все расписавшись? Ну, теперь глядите!.. Раз... два... три!!!

Мужчина поднялся, вытянулся во весь рост и сорвал с себя маску. Открыв свое пьяное лицо и поглядев на всех, любуясь произведенным эффектом, он упал в кресло и радостно захихикал. А впечатление, действительно, произвел он необыкновенное. Все интеллигенты растерянно переглянулись и побледнели, некоторые почесали затылки. Евстрат Спиридоныч крякнул, как человек, сделавший нечаянно большую глупость.

В буйне все узнали местного миллионера, фабриканта, потомственного почетного гражданина Пятигорова, известного своим скандалами, благотворительностью и, как не раз говорилось в местном вестнике, — любовью к просвещению.

— Что ж, уйдете, или нет? — спросил Пятигоров после минутного молчания.

Интеллигенты молча, не говоря ни слова, вышли на цыпочках из читальни, и Пятигоров запер за ними двери.

— Ты же ведь знал, что это Пятигоров! —

хрипел через минуту Евстрат Спиридоныч вполголоса, тряся за плечо лакея, вносившего в читальню вино. — Отчего ты молчал?

— Не велели сказывать-с!

— Не велели сказывать... Как засажу я тебя, анафему, на месяц, так тогда будешь знать «не велели сказывать». Вон!!.. А вы-то хороши, господа, — обратился он к интеллигентам. — Бунт подняли! Не могли выйти из читальни на десять минуток! Вот теперь и расхлебывайте кашу. Эх, господа, господа... Не люблю, ей-богу!

Интеллигенты заходили по клубу унылые, потерянные, виноватые, шепчась и точно предчувствуя что-то недоброе. Жены и дочери их, узнав, что Пятигоров «обижен» и сердится, притихли и стали расходиться по домам. Танцы прекратились.

В два часа из читальни вышел Пятигоров; он был пьян и пошатывался. Войдя в залу, он сел около оркестра и задремал под музыку, потом печально склонил голову и захрапел.

— Не играйте! — замахали старшины музыкантам. — Тсс! Егор Нилыч спит...

— Не прикажете ли вас домой проводить, Егор Нилыч? — спросил Белебухин, нагнувшись к уху миллионера.

Пятигоров сделал губами так, точно хотел сдунуть со щеки муху.

— Не прикажете ли вас домой проводить, — повторил Белебухин: — или сказать, чтоб экипажик подали?

— А? Ково? Ты... чево тебе?

— Проводить домой-с... Баиньки пора...

— До-домой желаю... Прроводи!

Белебухин просиял от удовольствия и начал поднимать Пятигорова. К нему подскочили дру-

гие интеллигенты и, приятно улыбаясь, подняли потомственного почетного гражданина и осторожно повели к экипажу.

— Ведь этак одурачить целую компанию может только артист, талант, — весело говорил Жестяков, подсаживая его. — Я буквально поражен, Егор Нилыч! До сих пор хохочу... Ха-ха... А мы-то кипятимся, хлопочем! Ха-ха! Верите?.. и в театрах никогда так не смеялся... Бездна комизма! Всю жизнь буду помнить этот незапамятный вечер!

Проводив Пятигорова, интеллигенты повеселились и успокоились!

— Мне руку подал на прощанье, — проговорил Жестяков, очень довольный. — Значит, ничего, не сердится...

— Дай-то бог! — вздохнул Евстрат Спиридонич. — Негодяй, подлый человек, но ведь — благодетель!.. Нельзя!..

1884

ЖИВАЯ ХРОНОЛОГИЯ

Гостиная статского советника Шарамыкина окутана приятным полумраком. Большая бронзовая лампа с зеленым абажуром красит в зелень à la «украинская ночь» стены, мебель, лица... Изредка в потухающем камине вспыхивает тлеющее полено и на мгновение заливает лица цветом пожарного зарева; но это не портит общей световой гармонии. Общий тон, как говорят художники, выдержан.

Перед камином в кресле, в позе только что пообедавшего человека, сидит сам Шарамыкин, пожилой господин с седыми чиновничими бакенами и с кроткими голубыми глазами. По лицу его разлита нежность, губы сложены в грустную улыбку. У его ног, протянув к камину ноги и лениво потягиваясь, сидит на скамеечке вице-губернатор Лопнев, бравый мужчина, лет сорока. Около пианино возятся дети Шарамыкина: Нина, Коля, Надя и Ваня. Из слегка отворенной двери, ведущей в кабинет г-жи Шарамыкиной, робко пробивается свет. Там за дверью, за своим письменным столом сидит жена Шарамыкина, Анна Павловна, председательница местного дамского комитета, живая и пикантная дамочка, лет тридцати с хвостиком. Ее черные бойкие глазки бегают сквозь пенсне по страницам французского романа. Под романом

лежит растрепанный комитетский отчет за прошлый год.

— Прежде наш город в этом отношении был счастливее, — говорит Шарамыкин, щуря свои кроткие глаза на тлеющие уголья. — Ни одной зимы не проходило без того, чтобы не приезжала какая-нибудь звезда. Бывали и знаменитые актеры, и певцы, а нынче... чорт знает что! кроме фокусников да шарманщиков никто не наезжает. Никакого эстетического удовольствия... Живем, как в лесу. Да-с... А помните, ваше превосходительство, того итальянского трагика... как его?.. еще такой брюнет, высокий... Дай, бог, память... Ах, да! Луиджи-Эрнесто-де-Руджиеро... Талант замечательный... Сила! Одно слово скажет, бывало, и театр ходором ходит. Моя Анюточка принимала большое участие в его таланте. Она ему и театр выхлопотала, и билеты на десять спектаклей распродала. Он ее за это декламации и мимике учил. Душа человек! Приезжал он сюда... чтоб не соврать... лет двенадцать тому назад... Нет, вру... Меньше, лет десять... Анюточка, сколько нашей Нине лет?

— Десятый год! — кричит из своего кабинета Анна Павловна. — А что?

— Ничего, мамочка, это я так... И певцы хорошие приезжали, бывало... Помните вы *tenore di grazia*¹? Прилипчина? Что за душа человек! Что за наружность! Блондин... лицо этакое выразительное, манеры парижские... А что за голос, ваше превосходительство! Одна только беда: некоторые ноты желудком пел и «ре» фистулой брал, а то все хорошо. У Тамберлика, говорил, учился... Мы с Анюточкой выхлопотали ему залу в общественном собрании, и в благо-

¹ *Tenore di grazia* — лирический тенэр.

дарность за это он, бывало, нам целые дни и ночи распевал... Анюточку петь учили... Приезжал он, как теперь помню, в великом посту, лет... лет двенадцать тому назад. Нет, больше... Вот память, прости господи! Анюточка, сколько нашей Надечке лет?

— Двенадцать!

— Двенадцать... ежели прибавить десять месяцев... Ну, так и есть... тринадцать!.. Прежде у нас в городе как-то и жизни больше было... Взять к примеру хоть благотворительные вечера. Какие прекрасные бывали у нас прежде вечера. Что за прелесты! И поют, и играют, и читают... После войны, помню, когда здесь пленные турки стояли, Анюточка делала вечер в пользу раненых. Собрали тысячу сто рублей... Турки-офицеры, помню, без ума были от Анюточкиного голоса, и все ей руку целовали. Хе, хе... Хоть и азиаты, а признательная нация. Вечер до того удался, что я, верите ли, в дневник записал. Это было, как теперь помню, в... семьдесят шестом... нет! в семьдесят седьмом... Нет! Позвольте, когда у нас турки стояли? Анюточка, сколько нашему Колечке лет?

— Мне, папа, семь лет! — говорит Коля, черномазый мальчуган с смуглым лицом и черными, как уголь, волосами.

— Да, постарели и энергии той уж нет!... — соглашается Лопнев, вздыхая. — Вот где причина. Старость, батенька! Новых инициаторов нет, а старые состарились... Нет уж того огня. Я, когда был помоложе, не любил, чтоб общество скучало... Я был первым помощником вашей Анны Павловны... Вечер ли с благотворительною целью устроить, лотерею ли, приезжую ли знаменитость поддержать — все бросал и на-

чинял хлопотать. Одну зиму, помню, я до того захлопотался и набегался, что даже заболел... Не забыть мне этой зимы!.. Помните, какой спектакль сочинили мы с вашей Анной Павловной в пользу погорельцев?

— Да это в каком году было?

— Не очень давно... В семьдесят девятом... Нет, в восемидесятом, кажется! Позвольте, сколько вашему Ване лет?

— Пять! — кричит из кабинета Анна Павловна.

— Ну, стало-быть, это было шесть лет тому назад... Да-с, батенька, были дела! Теперь уж не то! Нет того огня!

Лопнев и Шарамыкин задумываются. Тлеющее полено всыхивает в последний раз и подергивается пеплом.

КАНИТЕЛЬ

На клиросе стоит дьячок Отлукавин и держит между вытянутыми жирными пальцами огрызенное гусиное перо. Маленький лоб его собрался в морщины, на носу играют пятна всех цветов, начиная с розового и кончая темносиным. Перед ним на рыжем переплете Цветной Триоди лежат две бумажки. На одной из них написано «о здравии», на другой «за упокой», и под обоими заглавиями по ряду имен... Около клироса стоит маленькая старушонка с озабоченным лицом и с котомкой на спине. Она задумалась.

— Дальше кого? — спрашивает дьячок, лениво почесывая за ухом. — Скорей, убогая, думай, а то мне некогда. Сейчас часы читать стану.

— Сейчас, батюшка... Ну, пиши... О здравии рабов божиих: Андрея и Дарьи и со чады... Митрия, опять Андрея, Антипа, Марьи...

— Постой, не шибко... Не за зайцем скакешь, успеешь.

— Написал Марию? Ну, татеря Кирилла, Гордея, младенца новопреставленного Герасима, Пантелея... Записал усопшего Пантелейя?

— Постой... Пантелея помер?

— Помер... — вздыхает старуха.

— Так как же ты велишь о здравии записывать? — сердится дьячок, зачеркивая Пантелей и перенося его на другую бумажку. — Вот тоже еще... Ты говори толком, а не путай. Кто еще за упокой?

— За упокой? Сейчас... постой... Ну, пиши... Ивана, Авдотью, еще Дарью, Егора... Запиши... воина Захара... Как пошел на службу в четвертом году, так с той поры и не слыхать...

— Стало быть, он помер?

— А кто ж его знает! Может, помер, а может, и жив... Ты пиши...

— Куда же я его запишу? Ежели, скажем, помер, то за упокой, коли жив, то о здравии... Пойми вот вашего брата!

— Гм!.. Ты, родименький, его на обе записочки запиши, а там видно будет. Да ему все равно, как его ни записывай: непутящий человек... пропавший... Записал? Таперя за упокой Марка, Левонтия, Арину... ну, и Кузьму с Анной... болящую Федосью...

— Болящую-то Федосью за упокой? Тю!

— Это меня-то за упокой? Ошалел, что ли?

— Тьфу! Ты, кочерыжка, меня запутала! Не померла еще, так и говори, что не померла, а нечего в за-упокой лезть! Путаешь тут! Изволь вот теперь Федосью херить и в другое место писать... всю бумагу изгадил! Ну, слушай, я тебе прочту... О здравии Андрея, Дарьи со чады, паки Андрея, Антипия, Марии, Кирилла, новопреставленного младенца Гер... Постой, как же сюда этот Герасим попал? Новопреставленный, и вдруг — о здравии! Нет, запутала ты меня, убогая! Бол с тобой, совсем запутала!

Дьячок крутит головой, зачеркивает Герасима и переносит его в заупокойный отдел.

— Слушай! О здравии Марии, Кирилла, воина Захарии... Кого еще?

— Авдотью записал?

— Авдотью? Гм... Авдотью... Евдокию... — пересматривает дьячок обе бумажки. — Помню, записывал ее, а теперь шут ее знает... никак не найдешь... Вот она! За упокой записана!

— Авдотью-то за упокой? — удивляется старуха. — Году еще нет, как замуж вышла, а ты на нее уж смерть накликаешь! Сам вот, сердешный, путаешь, а на меня злобишься. Ты с молитвой пиши, а коли будешь в сердце злобу иметь, то бесу радость. Это тебя бес хороводит да путает...

— Постой, не мешай...

Дьячок хмурится и, подумав, медленно зачеркивает на заупокойном листке Авдотью. Перо на букве «д» взвизгивает и дает большую кляксу. Дьячок конфузится и чешет затылок.

— Авдотью, стало быть, долой отсюда... — бормочет он смущенно: — а записать ее туда... Так? Постой... Ежели ее туда, то будет о здравии, ежели же сюда, то за упокой... Совсем запутала баба! И этот еще воин Захария встярал сюда... Шут его принес... Ничего не разберу! Надо сызнова...

Дьячок лезет в шкапчик и достает оттуда осьмушку чистой бумаги.

— Выкинь Захарию, коли так... — говорит старуха. — Уж бог с ним, выкинь...

— Молчи!

Дьячок макает медленно перо и списывает с обеих бумажек имена на новый листок.

— Я их всех гуртом запишу, — говорит он, — а ты неси к отцу дьякону... Пущай дьякон разберет, кто здесь живой, кто мертвый; он в семинарии обучался, а я этих самых делов... хоть убей, ничего не понимаю.

Старуха берет бумажку, подает дьячку старинные полторы копейки и семенит к алтарю.

1885

ДИПЛОМАТ

(Сценка)

Жена титулярного советника Анна Львовна Кувалдина испустила дух.

— Как же теперь быть-то? — начали совещаться родственники и знакомые. — Надо бы мужа уведомить. Он хоть не жил с нею, но — все-таки любил покойницу. Намеднись приезжал к ней, на коленках ползал и все: «Анночка! Когда же, наконец, ты простишь мне увлечение минуты?» И все в таком, знаете, роде. Надо дать знать...

— Аристарх Иваныч! — обратилась заплаканная тетенька к полковнику Пискареву, принимавшему участие в родственном совещании. — Вы друг Михаилу Петровичу. Сделайте милость, съездите к нему вправление и дайте ему знать о таком несчастье!.. Только вы, голубчик, не сразу, не оглушите, а то как бы и с ним чего не случилось. Болезненный. Вы подготовьте его сначала, а потом уж...

Полковник Пискарев надел фуражку и отправился вправление дороги, где служил новоиспеченный вдовец. Застал он его за выведением баланса.

— Михайле Петровичу, — начал он, подсаживаясь к столу Кувалдина и утирая пот. — Здорово, голубчик! Да и пыль же на улицах, прости господи! Пиши, пиши... Я мешать не стану...

Посижу и уйду. Шел, знаешь, мимо и думаю:
а ведь здесь Миша служит! Дай зайду! Кстати
же и тово... дельце есть...

— Посидите, Аристарх Иваныч... Погодите...
Я через четверть часика кончу, тогда и потол-
куем...

— Пиши, пиши... Я ведь так только, гуляю-
чи... Два словечка скажу и — айда!

Кувалдин положил перо и приготовился слу-
шать. Полковник почесал у себя за воротником
и продолжал:

— Душно у вас здесь, а на улице чистый
рай... Солнышко, ветерочек этакий, знаешь ли...
птички... Весна! Иду себе по бульвару, и так
мне, знаешь ли, хорошо!.. Человек я независи-
мый, вдовый... Куда хочу, туда и иду... Хочу —
в портерную зайду, хочу — на конке взад и впе-
ред проедусь, и никто не смеет меня остановить,
никто за мной дома не воет... Нет, брат, лучше
житься, как на холостом положении... Вольно!
Свободно! Дышишь и чувствуешь, что дышишь!
Приду сейчас домой и никаких... Никто не по-
смеет спросить, куда ходил... Сам себе хозяин...
Многие, братец ты мой, хвалят семейную жизнь,
по-моему же она хуже каторги... Моды эти,
турниры, сплетни, визг... то и дело гости... де-
тишки один за другим так и ползут на свет
божий... расходы... Тыфу!

— Я сейчас,— проговорил Кувалдин, берясь
за перо.— Кончу и тогда...

— Пиши, пиши... Хорошо, если жена попа-
дется не дьяволица, ну а ежели сатана в юбке?
Ежели такая, что по целым дням стрекозит да
зудит?.. Взвоешь! Взять хоть тебя к примеру...
Пока холост был, на человека похож был, а как
женился на своей, и захирел, в меланхолию
ударился... Осрамила она тебя на весь город...

из дому прогнала... Что ж тут хорошего? И жалеть такую жену нечего...

— В нашем разрыве я виноват, а не она,— вздохнул Кувалдин.

— Оставь, пожалуйста! Знаю я ее! Злющая, своенравная, лукавая! Что ни слово, то жало ядовитое, что ни взгляд, то нож острый... А что в ней, в покойнице, ехидства этого было, так и выразить невозможно!

— То есть как в покойнице? — сделал большие глаза Кувалдин.

— Да нешто я сказалъ в покойница? — спохватился Пискарев, краснея.— И вовсе я этого не говорил... Что ты, бог с тобой. Уж и побледнел! Хе-хе... Ухом слушай, а не брюхом!

— Вы были сегодня у Анюты?

— Заходил утром... Лежит... Прислугой помыкает... Тё ей не так подали, другое... Невыносимая женщина! Не понимаю за что ты и любишь ее, бог с ней совсем... Дал бы бог, развязала бы она тебя несчастного... Пожил бы ты на свободе, повеселился... на другой бы оженился... Ну, ну, не буду! Не хмурься! Я ведь так только, по-стариковски... По мне, как знаешь... Хочешь — люби, хочешь — не люби, а я ведь так... добра желаючи. Не живет с тобой, знать тебя не хочет... что ж это за жена? Некрасивая, хилая, злонравная... И жалеть не за что... Пущай бы...

— Легко вы рассуждаете, Аристарх Иваныч! — вздохнул Кувалдин.— Любовь — не волос, не скоро ее вырвешь.

— Есть за что любить! Окроме ехидства ты от нее ничего не видел. Ты прости меня старика, а не любил я ее... Видеть не мог! Еду мимо ее квартиры и глаза закрываю, чтобы не увидеть... Бог с ней! Царство ей небесное,

вечный покой, но... не любил, грешный человек!

— Послушайте, Аристарх Иваныч... — побледнел Кувалдин. — Вы уже во второй раз проговариваетесь.... Умерла она, что ли?

— То-есть кто умерла? Никто не умирал, а только не любил я ее, покойницу... тьфу! То-есть не покойницу, а ее... Аннушку-то твою...

— Да она умерла, что ли? Аристарх Иваныч, не мучайте меня! Вы как-то странно возбуждены, путаетесь... холостую жизнь хвалите... Умерла? Да?

— Уж так и умерла! — пробормотал Пискарев, кашляя. — Как ты, брат, все сразу... А хоть бы и умерла! Все помрем, и ей, стало быть, помирать надо... И ты помрешь, и я...

Глаза Кувалдина покраснели и налились слезами.

— В котором часу? — спросил он тихо.

— Ни в котором... Уж ты и рюмзаешь! Да не умерла она! Кто тебе сказал, что она померла?

— Аристарх Иваныч, я... я прошу вас. Не щадите меня!

— С тобой, брат, и говорить нельзя, словно ты маленький. Ведь не говорил же я тебе, что она преставилась? Ведь не говорил? Чего же слюни распускаешь? Поди, полюбуйся — живе-хонька! Когда заходил к ней, с теткой бранилась... Тут отец Матвей панихиду служит, а она на весь дом орет.

— Какую панихиду? Зачем ее служить?

— Панихиду-то? Да так... словно как бы вместо молебствия. То-есть... никакой панихи-ды не было, а что-то такое... ничего не было.

Аристарх Иваныч запутался, встал и, отвернувшись к окну, начал кашлять.

— Кашель у меня, братец... Не знаю, где простудился...

Кувалдин тоже поднялся и нервно заходил около стола.

— Морочаете вы меня,— сказал он, теребя дрожащими руками свою бородку.— Теперь понятно... все понятно. И не знаю, к чему вся эта дипломатия! Почему же сразу не говорить? Умерла ведь?

— Гм... Как тебе сказать? — пожал плечами Пискарев.— Не то чтобы умерла, а так... Ну вот ты уж и плачешь! Все ведь умрем! Не одна она смертная, все на том свете будем! Чем плакать-то при людях, взял бы лучше да помянул! Перекрестился бы!

Полминуты Кувалдин тупо глядел на Пискарева, потом страшно побледнел и, упавши в кресло, засился истерическим плачем... Из-за столов повскакивали его сослуживцы и бросились к нему на помощь. Пискарев почесал затылок и нахмурился.

— Комиссия с такими господами, ей-богу!— проворчал он, растопыривая руки.— Ревет... ну, а отчего ревет, спрашивается? Миша, да ты в своем уме? Миша!— принял он толкать Кувалдина.— Ведь не умерла же еще! Кто тебе сказал, что она умерла? Напротив, доктора говорят, что есть еще надежда! Миша! А Миша! Говорю тебе, что не померла! Хочешь, вместе к ней съездим? Как раз и к панихиде поспеем.. то-есть, что я? Не к панихиде, а к обеду. Мишенька! Уверяю тебя, что еще жива! Накажи меня бог! Лопни мои глаза! Не веришь? В таком разе едем к ней... Назовешь тогда чем хочешь, ежели... И откуда он это выдумал, не понимаю? Сам я сегодня был у покойницы, то-есть не у покойницы, а... тьфу!

Полковник махнул рукой, плюнул и вышел из правления. Придя в квартиру покойницы, он повалился на диван и схватил себя за волосы.

— Ступайте вы к нему сами! — проговорил он в отчаянии. — Сами его готовляйте к известию, а меня уж избавьте! Не желаю-с! Два слова ему только сказал... Чуть только намекнул, поглядите, что с ним делается! Помирает! Без чувств! В другой раз ни за какие коврижки!.. Сами идите!

1885

ДАЧНИКИ

По дачной платформе взад и вперед прогуливались парочка недавно поженившихся супругов. Он держал ее за талию, а она жалась к нему, и оба были счастливы. Из-за облачных обрывков глядела на них луна и хмурилась: вероятно, ей было завидно и досадно на свое скучное, никому ненужное девство. Неподвижный воздух был густо насыщен запахом сирени и черемухи. Где-то, по ту сторону рельсов, кричал коростель...

— Как хорошо, Саша, как хорошо! — говорила жена. — Право, можно подумать, что все это снится. Ты посмотри, как уютно и ласковоглядит этот лесок! Как милы эти солидные, молчаливые телеграфные столбы! Они, Саша, оживляют ландшафт и говорят, что там, где-то, есть люди... цивилизация... А разве тебе не нравится, когда до твоего слуха ветер слабо доносит шум идущего поезда?

— Да... Какие, однако, у тебя руки горячие! Это оттого, что ты волнуешься, Варя... Что у нас сегодня к ужину готовили?

— Окрошку и цыпленка... Цыпленка нам на двоих довольно. Тебе из города привезли сардины и балык.

Луна, точно табаку понюхала, спряталась за облако. Людское счастье напомнило ей об ее

одиночестве, одинокой постели за лесами и долами...

— Поезд идет! — сказала Варя.— Как хорошо!

Вдали показались три огненные глаза. На платформу вышел начальник полустанка. На рельсах там и сям замелькали сигнальные огни.

— Проводим поезд и пойдем домой,— сказал Саша и зевнул.— Хорошо нам с тобой живется, Варя, так хорошо, что даже невероятно!

Темное страшилище бесшумно подползло к платформе и остановилось. В полуосвещенных вагонных окнах замелькали сонные лица, шляпки, плечи...

— Ax! Ax! — послышалось из одного вагона. — Варя с мужем вышла нас встретить! Вот они! Варенька!.. Варечка! Ax!

Из вагона выскочили две девочки и повисли на шее у Вари. За ними показались полная, пожилая дама и высокий, тощий господин с седыми бачками, потом два гимназиста, навьюченные багажом, за гимназистами гувернантка, за гувернанткой бабушка.

— А вот и мы, а вот и мы, дружок! — начал господин с бачками, пожимая Сашину руку.— Чай, заждался! Небось, бранил дядю за то, что не едет! Коля, Костя, Нина, Фифа... дети! Целуйте кузена Сашу! Все к тебе, всем выводком, и денька на три, на четыре. Надеюсь, не стесним? Ты, пожалуйста, без церемонии.

Увидев дядю с семейством, супруги пришли в ужас. Пока дядя говорил и целовался, в воображении Саши промелькнула картина: он и жена отдают гостям свои три комнаты, подушки, одеяла; балык, сардины и окрошка съедаются в одну секунду, кузены рвут цветы, проливают чернила, галдят, тетушка целые дни толкует о

своей болезни (солитер и боль под ложечкой) и о том, что она урожденная баронесса фон-Финтих...

И Саша уже с ненавистью смотрел на свою молодую жену и шептал ей:

— Это они к тебе приехали... чорт бы их побрал!

— Нет, к тебе! — отвечала она, бледная, тоже с ненавистью и со злобой. — Это не мои, а твои родственники!

И обернувшись к гостям, она сказала с приветливой улыбкой:

— Милости просим!

Из-за облака опять выплыла луна. Казалось, она улыбалась; казалось, ей было приятно, что у нее нет родственников. А Саша отвернулся, чтобы скрыть от гостей свое сердитое, отчаянное лицо, и сказал, придавая голосу радостное благодушное выражение:

— Милости просим! Милости просим, дорогие гости!

НАЛИМ

Летнее утро. В воздухе тишина; только по скрипывает на берегу кузнечик, да где-то робко мурлыкает орличка. На небе неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег... Около строящейся купальни, под зелеными ветвями ивняка, баражается в воде плотник Герасим, высокий, тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом, поросшим волосами. Он пыхтит, отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней ивняка. Лицо его покрыто потом. На сажень от Герасима, по горло в воде, стоит плотник Любим, молодой горбатый мужик с треугольным лицом и с узкими, китайскими глазками. Как Герасим, так и Любим, оба в рубахах и портах. Оба посинели от холода, потому что уж больше часа сидят в воде...

— Да что ты все рукой тычешь? — кричит горбатый Любим, дрожа как в лихорадке. — Голова ты садовая! Ты держи его, держи, а то уйдет, анафема! Держи, говорю!

— Не уйдет... Куда ему уйтить? Он под корягу забился... — говорит Герасим охрипшим, глухим басом, идущим не из гортани, а из глубины живота. — Скользкий, шут, и ухватить не за что.

— Ты за зебры хватай, за зебры!

— Не видать жабров-то... Постой, ухватил за что-то... За губу ухватил.., Кусается, шут!

— Не тащи за губу, не тащи — выпустишь! За зебры хватай его, за зебры хватай! Опять почал рукой тыкать! Да и беспонятный же мужик, прости царица небесная! Хватай!

— «Хватай»... — дразнит Герасим. — Командер какой нашелся... Шел бы да и хватал бы сам, горбатый чорт... Чего стоишь?

— Ухватил бы я, коли б можно было... Нешто при моей низкой комплекции можно под берегом стоять? Там глыбоко!

— Ничего, что глыбоко... Ты вплавь...

Горбач взмахивает руками, подплывает к Герасиму и хватается за ветки. При первой же попытке стать на ноги он погружается с головой и пускает пузыри.

— Говорил же, что глыбоко! — говорит он, сердито вращая белками. — На шею тебе сяду, что ли?

— А ты на корягу стань... Коряг много, словно лестница...

Горбач нащупывает пяткой корягу и, крепко ухватившись сразу за несколько веток, становится на нее... Совладавши с равновесием и укрепившись на новой позиции, он изгибается и, стараясь не набрать в рот воды, начинает правой рукой шарить между корягами. Путаясь в водорослях, скользя по мху, покрывающему коряги, рука его наскакивает на колючие клешни рака...

— Тебя еще тут, черта, не видали! — говорит Любим и со злобой выбрасывает на берег рака.

Наконец, рука его нащупывает руку Герасима и, спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого, холодного.

— Во-от он!.. — улыбается Любим. — Здравый, шут... Оттопырь-ка пальцы, я его си-час... за зебры... Постой, не толкай локтем... я его си-час... си-час... дай только взяться... Далече шут, под корягу забился, не за что и ухватиться... Не доберешься до головы... Пузо одно только и слыхать... Убей мнё на шее комара — жжет! Я си-час... под зебры его... Заходи сбоку, пхай его, пхай! Шпыняй его пальцем!

Горбач, надув щеки, притаив дыхание, вытаскивает глаза и, повидимому, уже залезает пальцами «под зебры», но тут ветки, за которые цепляется его левая рука, обрываются, и он, потеряв равновесие, — булых в воду! Словно испуганные, бегут от берега волнистые круги и на месте падения вскаивают пузыри. Горбач выплывает и, фыркая, хватается за ветки.

— Утонешь еще, чорт, отвечать за тебя придется!.. — хрюпит Герасим. — Вылезь, ну тя к лешему! Я сам вытащу!

Начинается ругань... А солнце печет и печет... Тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки... Высокая трава, пригретая солнцем, начинает испускать из себя густой, приторно-медовый запах. Уж скоро полдень, а Герасим и Любим все еще барахтаются под ивняком. Хриплый бас и озябший, визгливый тенор неугомонно нарушают тишину летнего дня.

— Тащи его за зебры, тащи! Постой, я его выпихну! Да куда суешься-то с кулачищем? Ты пальцем, а не кулаком — рыло! Заходи сбоку! Слева заходи, слева, а то вправе колдобина! Угодишь к лешему на ужин! Тяни за губу!

Слышится хлопанье бича... По отлогому берегу к водопою лениво плетется стадо, гонимое

пастухом Ефимом. Пастух, дряхлый старик с одним глазом и покривившимся ртом, идет, понуря голову, и глядит себе под ноги. Первыми подходят к воде овцы, за ними лошади, за лошадьми коровы.

— Потолкай его из-под низу! — слышит он голос Любима. — Просунь палец! Да ты глухой, чо-орт, что ли? Тыфу!

— Кого это вы, братцы? — кричит Ефим.

— Налима! Никак не вытащим! Под корягу забился! Заходи сбоку! Заходи, заходи!

Ефим минуту щурит свой глаз на рыболовов, затем снимает лапти, сбрасывает с плеч мешочек и снимает рубаху. Сбросить порты не хватает у него терпения, и он, перекрестясь, балансируя худыми, темными руками, лезет в портах в воду... Шагов пятьдесят он проходит по илистому дну, но затем пускается вплавь.

— Постой, ребятушки! — кричит он. — Постой! Не вытаскивайте его зря, упустите. Надо умеючи!..

Ефим присоединяется к плотникам и все трое, толкая друг друга локтями и коленями, пыхтя и ругаясь, толкуются на одном месте... Горбатый Любим захлебывается, и воздух оглашается резким, судорожным кашлем.

— Где пастух! — слышится с берега крик. — Ефи-им! Пастух! Где ты? Стадо в сад полезло! Гони, гони из саду! Гони! Да где ж он, старый рязбийник?

Слышиатся мужские голоса, затем женский... Из-за решетки барского сада показывается барин Андрей Андреич в халате из персидской шали и с газетой в руке... Он смотрит вопросительно по направлению криков, несущихся с реки, и потом быстро семенит к купальне...

— Что здесь? Кто орет? — спрашивает он строго, увидав сквозь ветки ивняка три мокрые головы рыболовов. — Что вы здесь копошитесь?

— Ры... рыбку ловим... — лепечет Ефим, не поднимая головы.

— А вот я тебе задам рыбку! Стадо в сад полезло, а он рыбку!.. Когда же купальня будет готова, черти? Два дня как работаете, а где ваша работа?

— Ну... будет готова... — кряхтит Герасим. — Лето велико, успеешь еще, вашескородие, помыться... Пфrrr... Никак вот тут с налимом не управимся... Забрался под корягу и словно в норе: ни туда, ни сюда...

— Налим? — спрашивает барин, и глаза его подергиваются лаком. — Так тащите его скорей!

— Ужо дашь полтинничек... Удружим ежели... Здоровенный налим, что твоя купчиха... Стоит, вашескородие, полтинник... за труды... Не мни его, Любим, не мни, а то замучишь! Подпирай снизу! Тащи-ка корягу кверху, добрый человек... как тебя? Кверху, а не книзу, дьявол! Не болтай ногами!

Проходит пять минут, десять... Барину становится невтерпеж.

— Василий! — кричит он, повернувшись к усадьбе. — Васька! Позовите ко мне Василия!

Прибегает кучер Василий. Он что-то жует и тяжело дышит.

— Полезай в воду, — приказывает ему барин, — помоги им вытащить налима... Налима не вытащат!

Василий быстро раздевается и лезет в воду.

— Я сейчас... — бормочет он. — Где налим? Я сейчас... Мы это мигом! А ты бы ушел, Ефим! Нечего тебе тут, старому человеку, не в свое

дело мешаться! Который тут налим? Я его си-
час... Вот он! Пустите руки!

— Да чего пустите руки? Сами знаем: пусти-
те руки! А ты вытащи!

— Да нешто его так выташишь? Надо за го-
лову!

— А голова под корягой! Знамо дело, дурак!

— Ну, не лай, а то влетит! Сволочь!

— При господине барине и такие слова... —
лепечет Ефим.— Не вытащите вы, братцы! Уж
больно ловко он засел туда!

— Погодите, я сейчас... — говорит барин и на-
чинает торопливо раздеваться.— Четыре вас ду-
рака, и налима вытащить не можете!

Раздевшись, Андрей Андреич дает себе осты-
нуть и лезет в воду. Но и его вмешательство
не ведет ни к чему.

— Подрубить корягу надо! — решает, нако-
нец, Любим. — Герасим, сходи за топором! То-
пор подайте!

— Пальцев-то себе не отрубите! — говорит
барин, когда слышатся подводные удары топора
о корягу. — Ефим, пошел вон отсюда! Постой-
те, я налима вытащу... Вы не тово...

Коряга подрублена. Ее слегка надламывают,
и Андрей Андреич, к великому своему удоволь-
ствию, чувствует, как его пальцы лезут налиму
под жабры.

— Ташу, братцы! Не толпитесь... стойте...
ташу!

На поверхности показывается большая на-
лимья голова и за нею черное, аршинное тело.
Налим тяжело ворочает хвостом и старается
вырваться...

— Шалишь... Дудки, брат. Попался? Ага!

По всем лицам разливается медовая улыбка.
Минута проходит в молчаливом созерцании.

— Знатный налим! — лепечет Ефим, почесывая под ключицами. — Чай, фунтов десять будет...

— Нда... — соглашается барин. — Печенка-то так и отдувается. Так и прет ее из нутра. А... ах!

Налим вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вверх, и рыболовы слышат сильный плеск... Все растопыривают руки, но уже поздно: налим — поминай как звали.

1885

ЗАБЛУДШИЕ

Дачная местность, окутанная ночным мраком. На деревенской колокольне бьет час. Присяжные поверенные Козявкин и Лаев, оба в отменном настроении и слегка пошатываясь, выходят из лесу и направляются к дачам.

— Ну, слава создателю, пришли... — говорит Козявкин, переводя дух. — В нашем положении пройти пештурой пять верст от полустанка — подвиг. Страшно умаялся! И, как на зло, ни одного извозчика...

— Голубчик, Петя... не могу! Если через пять минут я не буду в постели, то умру, кажется...

— В по-сте-ли! Ну, это шалишь, брат! Мы сначала поужинаем, выпьем красненького, а потом уж и в постель. Мы с Верочкой не дадим тебе спать... А хорошо, братец ты мой, быть женатым! Ты не понимаешь этого, черствая душа! Приду я сейчас к себе домой утомленный, замученный... меня встретит любящая жена, попоит чайком, даст поесть и, в благодарность за мой труд, за любовь, взглянет на меня своими черненькими глазенками так ласково и приветливо, что забуду я, братец ты мой, и усталость, и кражу со взломом, и судебную палату, и кассационный департамент... Хорошо!

— Но... у меня, кажется, ноги отломались... Я сдва иду... Пить страшно хочется...

— Ну, вот мы и дома.

Приятели подходят к одной из дач и останавливаются перед крайним окном.

— Дачка славная, — говорит Козявкин. — Вот завтра увидишь, какие здесь виды! Темно в окнах. Стало-быть, Верочка уже легла, не захотела дожидаться. Лежит и, должно быть, мучится, что меня до сих пор нет... (пихает тростью окно, которое отворяется). Этакая ведь беспстрашная, ложится в постель и не запирает окон (снимает крылатку и бросает ее вместе с портфелем в окно). Жарко! Давай-ка затянем серенаду, посмешим ее... (поет): «Месяц плывет по ночным небесам... Ветерочек чуть чуть дышит... ветерочек чуть колышет»... Пой, Алеша! Верочка, спеть тебе серенаду Шуберта? (поет). «Пе-еень мо-я-я... лети-ит с моль-бо-о-ю»... (голос обрывается судорожным кашлем). Тьфу! Верочка, скажи-ка Аксинье, чтобы она отперла нам калитку! (пауза). Верочка! Не ленись же, встань, милая! (становится на камень и глядит в окно). Верунчик, мумочка моя, веревьюнчик... ангелочек, жена моя бесподобная, встань и скажи Аксинье, чтобы она отперла нам калитку! Ведь не спиши же! Мамочка, ей-богу, мы так утомлены и обессилены, что нам вовсе не до шуток. Ведь мы пешком от станции шли! Да ты слышишь или нет? А, чорт возьми! (делает попытку влезть в окно и срываются). Может-быть, гостю неприятны эти шутки! Ты, я вижу, Вера, такая же институтка, как была, все бы тебе шалить...

— А может-быть, Вера Степановна спит! — говорит Лаев.

— Не спит! Ей, вероятно, хочется, чтобы я поднял шум и взбудоражил всех соседей! Я уже начинаю сердиться, Вера! А, чорт возьми! Под-

сади меня, Алеша, я влезу! Девчонка ты, школьница и больше ничего!.. Подсади!

Лаев с пыхтением подсаживает Козявкина. Тот влезает в окно и исчезает во мраке комнаты.

— Верка! — слышит через минуту Лаев. — Где ты? Чоррт... Тьфу, во что-то руку выпачкал. Тьфу!

Слышится шорох, хлопанье крыльев и отчаянный крик курицы.

— Вот те на! — слышит Лаев. — Вера, откуда у нас куры? Чорт возьми, да тут их пропасть! Плетушка с индейкой... Клюется, п-подлая!

Из окна с шумом вылетают две курицы, и, крича во всё горло, мчатся по улице.

— Алеша, да мы не туда попали! — говорит Козявкин плачущим голосом. — Тут куры какие-то... Я, должно быть, обознался... Да ну вас к чорту, разлетались тут, анафемы!

— Так ты выходи поскорей! Понимаешь? Умираю от жажды!

— Сейчас... Найду вот крылатку и портфель...

— Ты спичку зажги!

— Спички в крылатке... Угораздило же меня сюда забраться! Все дачи одинаковые, сам чорт не различит их в потемках. Ой, индейка в щеку клюнула. П-подлая...

— Выходи поскорее, а то подумают, что мы кур воруем!

— Сейчас... Крылатки никак не найду. Тряпья здесь валяется много и не разберешь, где тут крылатка. Брось-ка мне спички!

— У меня нет спичек!

— Положение, нечего сказать! Как же быть-то! Без крылатки и портфеля никак нельзя. Надо отыскать их.

— Не понимаю, как это можно не узнать своей собственной дачи, — возмущается Лаев. — Пьяная рожа... Если б я знал, что будет такая история, ни за что бы не поехал с тобой. Теперь бы я был дома, спал безмятежно, а тут изволь вот мучиться... Страшно утомлен, пить хочется... голова кружится!

— Сейчас, сейчас... не умрешь...

Через голову Лаева с криком пролетает большой петух. Лаев глубоко вздыхает и, безнадежно махнув рукой, садится на камень. Душа у него горит от жажды, глаза слипаются, голову клонит вниз... Проходит минут пять, десять, наконец, двадцать, а Козявкин все еще возится с курами.

— Петр, скоро ли ты?

— Сейчас. Нашел-было портфель, да опять потерял.

Лаев подпирает голову кулаками и закрывает глаза. Куриный крик становится все громче. Обитательницы пустой дачи вылетают из окна и, кажется ему, как совы, кружатся во тьме над его головой. От их крика в ушах его стоит звон, душой овладевает ужас.

«Сскотина!.. — думает он. — Пригласил в гости, обещал угостить вином да простоквашей, а вместо того заставил пройтись от станции пешком и этих кур слушать...»

Возмущаясь, Лаев сует подбородок в воротник, кладет голову на свой портфель и мало-мало успокаивается. Утомление берет свое, и он начинает засыпать.

— Нашел портфель! — слышит он торжествующий крик Козявкина. — Найду сейчас крылатку и — баста, идем!

Но вот сквозь сон слышит он собачий лай. Лает сначала одна собака, потом другая,

третья... и собачий лай, мешаясь с куриным кудахтаньем, дает какую-то диковинную музыку. Кто-то подходит к Лаеву и спрашивает о чем-то. Засим слышит он, что через его голову лезут в окно, стучат, кричат... Женщина в красном фартуке стоит около него с фонарем в руке и о чем-то спрашивает.

— Вы не имеете права говорить это! — слышит он голос Козявкина. — Я присяжный поверенный, кандидат прав Козявкин. Вот вам моя визитная карточка!

— На что мне ваша карточка! — говорит кто-то хриплым басом. — Вы у меня всех кур разгоняли, вы подавили яйца! Поглядите, что вы наделали! Не сегодня — завтра индошата должны были вылупиться, а вы подавили. На что же, сударь, сдалась мне ваша карточка?

— Вы не смеете меня удерживать! Да-с! Я не позволю!

«Пить хочется»... — думает Лаев, стараясь открыть глаза и чувствуя, как через его голову кто-то лезет из окна.

— Я — Козявкин! Тут моя дача, меня тут все знают!

— Никакого Козявкина мы не знаем!

— Что ты мне рассказываешь? Позвать старосту! Он меня знает!

— Не горячитесь, сейчас урядник приедет... Всех дачников тутовых мы знаем, а вас отродясь не видели.

— Я уж пятый год в Гнилых Выселках на даче живу!

— Эва! Нешто это Выселки? Здесь Хилово, а Гнилые Выселки правее будут, за спичечной фабрикой. Версты за четыре отсюда.

— Чорт меня возьми! Это, значит, я не той дорогой пошел!

Человеческие и птичье крики мешаются с собачьим лаем, и из смеси звукового хаоса выделяется голос Козявкина:

— Вы не смеете! Я заплачу! Вы узнаете, с кем имеете дело!

Наконец, голоса мало-по-малу стихают. Лаев чувствует, что его треплют за плечо.

1885

МЫСЛИТЕЛЬ

Знойный полдень. В воздухе ни звуков, ни движений... Вся природа похожа на одну очень большую, забытую богом и людьми, усадьбу. Под опустившейся листвой старой липы, стоящей около квартиры тюремного смотрителя Яшкина, за маленьким треногим столом сидят сам Яшкун и его гость, штатный смотритель уездного училища Пимфов. Оба без сюртуks; жилетки их расстегнуты; лица потны, красны, неподвижны; способность их выражать что-нибудь парализована зноем... Лицо Пимфова совсем скисло и заплыло ленью, глаза его посоловели, нижняя губа отвисла. В глазах же и на лбу у Яшкина еще заметна кое-какая деятельность; повидимому, он о чем-то думает... Обаглядят друг на друга, молчат и выражают свои мучения пыхтением и хлопаньем ладонями по мухам. На столе графин с водкой, мочалистая вареная говядина и коробка из-под сардин с серой солью. Выпиты уже первая, вторая, третья...

— Да-с! — издает вдруг Яшкун, и так неожиданно, что собака, дремлющая недалеко от стола, вздрогивает и, поджав хвост, бежит в сторону. — Да-с! Что ни говорите, Филипп Максимыч, а в русском языке очень много лишних знаков препинания!

— То есть, почему же-с? — скромно вопроси-

шает Пимфов, вынимая из рюмки крылышко мухи.—Хотя и много знаков, но каждый из них имеет свое значение и место.

— Уж это вы оставьте. Никакого значения не имеют ваши знаки. Одно только мудрование... Наставит десяток запятых в одной строчке и думает, что он умный. Например, товарищ прокурора Меринов после каждого слова запятую ставит. Для чего это? Милостивый государь — запятая, посетив тюрьму такого-то числа — запятая, я заметил — запятая, что арестанты — запятая... тьфу! В глазах рябит! Да и в книгах то же самое... Точка с запятой, двоеточие, кавычки разные. Противно читать даже. А иной франт, мало ему одной точки, возьмет и натыкает их целый ряд... Для чего это?

— Наука того требует... — вздыхает Пимфов.

— Наука... Умопомрачение, а не наука... Для форсуса выдумали... пыль в глаза пущать... Например, ни в одном иностранном языке нет этого ять, а в России есть. Для чего он, спрашивается? Напиши ты хлеб с ятем или без ятя, нешто не все равно?

— Бог знает, что вы говорите, Илья Мартынч! — обижается Пимфов. — Как же это можно хлеб через *e* писать? Такое говорят, что слушать даже неприятно.

Пимфов выпивает рюмку и, обиженно моргая глазами, отворачивает лицо в сторону.

— Да и секли же меня за этот ять! — продолжает Яшкин. — Помню это, вызывает меня раз учитель к черной доске и диктует: «Лекарь уехал в город». Я взял и написал *лекарь* с *e*. Выпорол. Через неделю опять к доске, опять пиши: «Лекарь уехал в город». Пишу на этот раз с ятем. Опять пороть. За что же, Иван Фомич? Помилуйте, сами же вы говорили, что тут

ять нужно! «Тогда, говорит, я заблуждался, прочитав же вчера сочинение некоего академика о ять в слове лекарь, соглашаюсь с академией наук. Порю же я тебя по долгу присяги»... Ну, и порол. Да и у моего Васютки всегда уко всухши от этого ять... Будь я министром, запретил бы я вашему брату ятем людей морочить.

— Прощайте, — вздыхает Пимфов, моргая глазами и надевая сюртук. — Не могу я слышать, ежели про науки...

— Ну, ну, ну... уж и обиделся! — говорит Яшкин, хватая Пимфова за рукав. — Я ведь это так, для разговора только... Ну, сядем, выпьем!

Оскорбленный Пимфов садится, выпивает и отворачивает лицо в сторону. Наступает тишина. Мимо пьющих кухарка Феона проносит лохань с помоями. Слышится помойный плеск и визг облитой собаки. Безжизненное лицо Пимфова раскисает еще больше; вот-вот растает от жары и потечет вниз на жилетку. На лбу Яшкина собираются морщинки. Он сосредоточенно глядит на мочалистую говядину и думает... Подходит к столу инвалид, угрюмо косится на графин и, увидев, что он пуст, приносит новую порцию... Еще выпивают.

— Да-с! — говорит вдруг Яшкин.

Пимфов вздрагивает и с испугом глядит на Яшкина. Он ждет от него новых ересей.

— Да-с! — повторяет Яшкин, задумчиво глядя на графин. — По моему мнению, и наук много лишних!

— То-есть, как же это-с? — тихо спрашивает Пимфов. — Какие науки вы находите лишними?

— Всякие... Чем больше наук знает человек, тем больше он мечтает о себе. Гордости боль-

ше... Я бы перевешал все эти... науки... Ну, ну... уж и обиделся! Экий какой, ей-богу, обидчивый, слова сказать нельзя! Сядем, выпьем!

Подходит Феона и, сердито тыкая в стороны своими пухлыми локтями, ставит перед приятелями зеленые щи в миске. Начинается громкое хлебание и чавканье. Словно из земли вырастают три собаки и кошка. Они стоят перед столом и умильно поглядывают на жующие рты. За щами следует молочная каша, которую Феона ставит с такой злобой, что со стола сыплются ложки и корки. Перед кашей приятели молча выпивают.

— Все на этом свете лишнее! — замечает вдруг Яшкин.

Пимфов роняет на колени ложку, испуганно глядит на Яшкина, хочет протестовать, но язык ослабел от хмеля и запутался в густой каше... Вместо обычного «то есть, как же это-с?» получается одно только мычание.

— Все лишнее... — продолжает Яшкин. — И науки и люди... и тюремные заведения, и муши... и каша... И вы лишний... Хоть вы и хороший человек, и в бога веруете, но и вы лишний....

— Прощайте, Илья Мартыныч! — лепечет Пимфов, силясь надеть сюртук и никак не попадая в рукава.

— Сейчас вот мы натрескались, наломались, — а для чего это? Так... Все это лишнее... Едим и сами не знаем, для чего... Ну, ну... уж и обиделся! Я ведь это так только... для разговора! И куда вам итти? Посидим, потолкуем... выпьем!

Наступает тишина, изредка только прерываемая звяканьем рюмок да пьяным покрякиванием... Солнце начинает уже клониться к западу, и тень липы все растет и растет. Приходит

Феона и, фыркая, резко махая руками, расстилает около стола коврик. Приятели молча выпивают по последней, располагаются на ковре и, повернувшись друг к другу спинами, начинают засыпать...

«Слава богу, — думает Пимфов, — сегодня не дошел до сотворения мира и иерархии, а то бы волосы дыбом, хоть святых выноси...»

1885

УНТЕР ПРИШИБЕЕВ

— Унтер-офицер Пришибеев! Вы обвиняетесь в том, что 3-го сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотского Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным?

Пришибеев, сморщеный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя:

— Ваше высокородие, господин мирской судья! Стало-быть, —по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. Все это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого трупа. Иду это я третьего числа с женой Анфисой тихо, благородно, смотрю — стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался? спрашиваю. Зачем? Нешто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: разойдись! Стал расталкивать народ, чтоб расходились по домам, приказал сотскому гнать в-зашей...

— Позвольте, вы ведь не урядник, не ста-роста, —разве это ваше дело народ разгово-чить?

— Не его! Не его! — слышатся голоса из разных углов камеры. — Житья от него нету, вашескородие! Пятнадцать лет от него терпим! Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги. Замучил всех!

— Именно так, вашескородие! — говорит свидетель староста. — Всем миром жалимся. Жить с ним никак невозможно! С образами ли ходим, свадьба ли, или, положим, случай какой, везде он кричит, шумит, все порядки вводит. Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекор какой... Намеднись по избам ходил, приказывал, чтоб песней не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь.

— Погодите, вы еще успеете дать показание, — говорит мировой, — а теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев!

— Слушаю-с! — хрюпит унтер. — Вы, ваше высокородие, изволите говорить, не мое это дело народ разгонять... Хорошо-с... А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людьми простого звания, и, ваше высокородие, я могу все понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной капитенармус, в Варшаве служил, в штабе-с, а после того, изволите знать, как в чистую вышел, был в пожарных-с, а после того по слабости болезни ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил... Все порядки знаю-с. А мужик — простой человек, он

Ничего не понимает и должен меня слушать, потому — для его же пользы. Взять хоть это дело к примеру... Разгоняю я народ, а на берегу на песочке утоплый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок? Что урядник глядит? Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утоплый покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет. Может, тут уголовное смертоубийство... А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. «Что это, говорит, у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Нешто мы без него, говорит, не знаем нашего поведения?» Стало-быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания. «Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу». Зачем же, спрашиваю становому приставу? По какой статье свода законов? Нешто в таких делах, когда утопшие, или удавившие, и прочее тому подобное, — нешто в таких делах становой может? Тут, говорю, дело уголовное, гражданское... Тут, говорю, скорей посыпать эстафет господину следователю и судьям-с. И перво-наперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье. А он, урядник, все слушает и смеется. И мужики тоже. Все смеялись, ваше высокородие. Под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся! Что, говорю, зубья скалите? А урядник и говорит: «Мировому, говорит, судье такие дела не подсудны». От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал? — обращается унтер к уряднику Жигину.

— Сказывал.

— Все слыхали, как ты это самое при всем

простом народе: «Мировому судье такие дела неподсудны». Все слыхали, как ты это самое... Меня, ваше высокородие, в жар бросило, я даже срёбл весь. Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что ты сказал! Он опять эти самые слова... Я к нему... Как же, говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейский урядник, да против власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения? Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья? А старшина говорит: «Мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны». Так и сказал, все слышали... Как же, говорю, ты смеешь власть унижать? Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо. Бывало, в Варшаве, или когда в швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как заслыши какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма; «поди, говорю, сюда, кавалер», — и все ему докладываю. А тут в деревне кому скажешь? Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеолии и неповиновении, я размахнулся и... конечно, не то чтобы сильно, а так, правильно, полегоньку, чтоб не смел про ваше высокородие такие слова говорить... За старшину урядник вступился. Я, стало-быть, и урядника... И пошло... Погорячился, ваше высокородие, ну, да ведь без того нельзя, чтоб не побить. Ежели глупого человека не побьешь, то на твой же душа грех. Особливо, ежели за дело... ежели беспорядок...

— Позвольте! За непорядками есть кому глядеть. На это есть урядник, староста, сотский...

— Уряднику за всем не углядеть, да урядник и не понимает того, что я понимаю...

— Но поймите, что это не ваше дело!

— Чего-с? Как же это не мое? Чудно-с... Люди безобразят, и не мое дело! Что ж мне хвалить их, что ли? Они вот жалятся вам, что я песни петь запрещаю... Да что хорошего в песнях-то? Вместо того, чтоб делом каким заниматься, они песни... А еще тоже моду взяли вчера с огнем сидеть. Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи. У меня записано-с.

— Что у вас записано?

— Кто с огнем сидит.

Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает:

— Которые крестьяне сидят с огнем: Иван Прохоров, Савва Микифоров, Петр Петров. Солдатка Шустрова, вдова, живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров.

— Довольно! — говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.

Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпущенные глаза блестят, нос становится ярко-красным. Глядит он на мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован, и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор: на месяц под арест!

— За что?! — говорит он, разводя в недоумении руками. — По какому закону?

И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак не возможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:

— Наррод, расходись! Не толпись! По домам!

1885

ПИСАТЕЛЬ

В комнате, прилегающей к чайному магазину купца Ершакова, за высокой contadorкой сидел сам Ершаков, человек молодой, по моде одетый, но помятый и видимо поживший на своем веку бурно. Судя по его размашистому почерку с завитушками, капулю и тонкому сигарному запаху, он был не чужд европейской цивилизации. Но от него еще больше повеяло культурой, когда из магазина вошел мальчик и доложил:

— Писатель пришел!

— А!.. Зови его сюда. Да скажи ему, чтоб калоши свои в магазине оставил.

Через минуту в комнатку тихо вошел седой, плешивый старик в рыжем, потертом пальто, с красным, помороженным лицом и с выражением слабости и неуверенности, которое обыкновенно бывает у людей, хотя и мало, но постоянно пьющих.

— А, мое почтение... — сказал Ершаков, не оглядываясь на вошедшего. — Что хорошенъкого, господин Гейним?

Ершаков смешивал слова «гений» и «Гейне», и они сливались у него в одно — «Гейним», как он и называл всегда старика.

— Да вот-с, заказик принес, — ответил Гейним. — Уже готово-с...

— Так скоро?

— В три дня, Захар Семеныч, не то что ре-

кламу, роман сочинить можно. Для рекламы и часа довольно.

— Только-то? А торгуешься всегда, словно годовую работу берешь. Ну, показывайте, что вы сочинили?

Гейним вынул из кармана несколько помятых, исписанных карандашом бумажек и подошел к конторке.

— У меня еще вчерне-с, в общих чертах-с... — сказал он. — Я вам прочту-с, а вы вникайте и указывайте в случае, ежели ошибку найдете. Ошибиться не мудрено, Захар Семеныч... Верите ли? Трем магазинам сразу рекламу сочинял... Это и у Шекспира бы голова закружилась.

Гейним надел очки, поднял брови и начал читать печальным голосом и точно декламируя:

— «Сезон 1885—86 г. Поставщик китайских чаев во все города Европейской и Азиатской России и за границу, З. С. Ершаков. Фирма существует с 1804 года». Все это вступление, понимаете, будет в орнаментах, между гербами. Я одному купцу рекламу сочинял, так тот взял для объявления гербы разных городов. Так и вы можете сделать, и я для вас придумал такой орнамент, Захар Семеныч: лев, а у него в зубах лира. Теперь дальше: «Два слова к нашим покупателям. Милостивые государи! Ни политические события последнего времени, ни холодный индифферентизм, все более и более проникающий во все слои нашего общества, ни обмеление Волги, на которое еще так недавно указывала лучшая часть нашей прессы,— ничто не смущает нас. Долголетнее существование нашей фирмы и симпатии, которыми мы успели заручиться, дают нам возможность прочно держаться почвы и не изменять раз навсегда за-

веденной системе, как в сношениях наших с владельцами чайных плантаций, так равно и в добросовестном исполнении заказов. Наш девиз достаточно известен. Выражается он в немногих, но многозначительных словах: добросовестность, дешевизна, и скорость!!»

— Хорошо! Очень хорошо! — перебил Ершаков, двигаясь на стуле. — Даже не ожидал, что так сочините. Ловко! Только вот что, милый друг... нужно тут как-нибудь тень навести, затуманить, как-нибудь этак, знаешь, фокус устроить... Публикуем мы тут, что фирма только-что получила партию свежих первосборных весенних чаев сезона 1885 года... Так? А нужно кроме того показать, что эти только-что полученные чаи лежат у нас в складе уже три года, но тем не менее будто из Китая мы их получили только на прошлой неделе.

— Понимаю-с... Публика и не заметит противоречия. В начале объявления мы напишем, что чаи только-что получены, а в конце мы так скажем: «Имея большой запас чая с оплатой прежней пошлины, мы без ущерба собственным интересам можем продавать их по прейс-куранту прошлых лет»... и т. д. Ну-с, на другой странице будет прейс-курант. Тут опять пойдут гербы и орнаменты... Под ними крупным шрифтом: «Прейс-курант отборным ароматическим, фучанским, кяхтинским и байховым чаям первого весеннего сбора, полученным из вновь приобретенных плантаций»... Дальше-с: «Обращаем внимание истинных любителей на лянсинные чаи, из коих самою большою и заслуженною любовью пользуется «Китайская эмблема или завист конкурентов» 3 р. 50 к. Из розанистых чаев мы особенно рекомендуем «Богданханская Роза» 2 р. и «Глаза Китаянки»

1р. 80 к. За ценами пойдет петитом о развеске и пересылке чая. Тут же о скидке и насчет премий: «Большинство наших конкурентов, желая завлечь к себе покупателей, закидывает удочку в виде премий. Мы с своей стороны протестуем против этого возмутительного приема и предлагаем нашим покупателям не в виде премии, а бесплатно все приманки, какими угощают конкуренты своих жертв. Всякий, купивший у нас не менее чем на 50 р., выбирает и получает бесплатно одну из следующих пяти вещей: чайник из британского металла, сто визитных карточек, план города Москвы, чайницу в виде нагой китаянки и книгу «Жених удивлен или невеста под корытом», рассказ Игрикова «Весельчака».

Кончив чтение и сделав кое-какие поправки, Гейним быстро переписал рекламу начисто и вручил ее Ершакову. После этого наступило молчание... Оба почувствовали себя неловко, как будто совершили какую-то пакость.

— Деньги за работу сейчас прикажите получить, или после? — спросил Гейним нерешительно.

— Когда хотите, хоть сейчас... — небрежно ответил Ершаков. — Ступай в магазин и бери чего хочешь на пять с полтиной.

— Мне бы деньгами, Захар Семеныч.

— У меня нет моды деньгами платить. Всем плачу чаем да сахаром: и вам, и певчим, где я старостой, и дворникам. Меньше пьянства.

— Разве? Захар Семеныч, мою работу можно равнять с дворниками да с певчими? У меня умственный труд.

— Какой труд! Сел, написал и все тут. Писанья не съешь, не выпьешь... плевое дело! И рубля не стоит.

— Гм... Как вы насчет писанья рассуждате... — обиделся Гейним. — Не съешь, не выпьешь. Того не понимаете, что я, может, когда сочинял эту рекламу, душой страдал. Пиши и чувствуешь, что всю Россию в обман вводишь. Дайте денег, Захар Семеныч!

— Надоел, брат. Не хорошо так приставать.

— Ну, ладно. Так я сахарным песком возьму. Ваши же молодцы у меня его назад возьмут по восьми копеек за фунт. Потеряю на этой операции копеек сорок, ну, да что делать! Будьте здоровы-с!

Гейним повернулся, чтобы выйти, но остановился в дверях, вздохнул и сказал мрачно:

— Россию обманываю! Всю Россию! Отечество обманываю из-за куска хлеба! Эх!

И вышел. Ершаков закурил гаванку, и в его комнате еще сильнее запахло культурным человеком.

ПЕРЕСОЛИЛ

Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию «Гнилушки». До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось еще проехать на лошадях верст тридцать — сорок. (Ежели возница не пьян и лошади не клячи, то и тридцати верст не будет, а коли возница с мухой да кони наморены, то целых пятьдесят наберется).

— Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей? — обратился землемер к станционному жандарму.

— Которых? Почтовых? Тут за сто верст путь собаки не сыщешь, а не то что почтовых... Да вам куда ехать?

— В Девкино, имение генерала Хохотова.

— Что ж? — зевнул жандарм. — Ступайте за станцию, так на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров.

Землемер вздохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашел здоровеннейшего мужика, угрюмого, рябого, одетого в рваную сермягу и лапти.

— Чорт знает, какая у тебя телега! — поморщился землемер, влезая в телегу. — Не разберешь, где у нее зад, где перед...

— Что ж тут разбирать-то? Где лошадиный хвост, там перед, а где сидит ваша милость, там зад...

Лошаденка была молодая, но тощая, с растрепанными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнул ее веревочным кнутом, она только замотала головой, когда же он выбранился и стегнул ее еще раз, то телега взвизгнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась, после же четвертого она тронулась с места.

— Этак мы всю дорогу поедем? — спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских возниц соединять тихую, черепашью езду с душу выворачивающей тряской.

— До-о-едем! — успокоил возница. — Кобылка молодая, шустрая... Дай ей только разбежаться, так потом и не остановишь... Но-о-о прокля...тая!

Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась темная, замерзшая равнина, без конца и краю... Поешь по ней, так наверно заедешь к чорту на кулички. На горизонте, где она исчезала и сливалась с небом, лениво догорала холодная осенняя заря... Налево от дороги в темнеющем воздухе выселись какие-то бугры, не то прошлогодние стоги, не то деревни. Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны все поле зрения застилала широкая, неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно.

«Какая, однако, здесь глушь, — думал землемер, стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели. — Ни кола, ни двора. Не ровен час — нападут и ограбят, так никто и не узнает, хоть

из пушек пали... Да и возница ненадежный... Ишь, какая спинища! Этакое дитя природы пальцем тронет, так душа вон! И морда у него зверская, подозрительная».

— Эй, милый, — спросил землемер: — как тебя зовут?

— Меня-то? Клим.

— Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят?

— Ничего, бог миловал... Кому ж шалить?

— Это хорошо, что не шалят... Но на всякий случай все-таки я взял с собой три револьвера, — соврал землемер. — А с револьвером, знаешь, шутки плохи. С десятью разбойниками можно справиться...

Стемнело. Телега вдруг заскрипела, завизжала, задрожала и, словно нехотя, повернула налево.

«Куда же это он меня повез? — подумал землемер. — Ехал все прямо и вдруг налево. Чего доброго, завезет, подлец, в какую-нибудь трущобу и... и... Бывают ведь случаи!» — Послушай, — обратился он к вознице. — Так ты говоришь, что здесь не опасно? Это жаль... Я люблю с разбойниками драться... На вид-то я худой, болезненный, а силы у меня, словно у быка... Однажды напало на меня три разбойника... Так что ж ты думаешь? Одного я так тряхнул, что... что, понимаешь, Богу душу отдал, а два другие из-за меня в Сибирь пошли на каторгу. И откуда у меня сила берется, не знаю... Возьмешь одной рукой какого-нибудь здоровилу, в роде тебя и... и сковырнешь.

Клим оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошаденке.

— Да, брат... — продолжал землемер. — Не дай Бог со мной связаться. Мало того, что раз-

бойник без рук, без ног останется, он еще и перед судом ответит... Мне все судьи и исправники знакомы. Человек я казенный, нужный... Я вот еду, а начальству известно... так и глядит, чтоб мне кто-нибудь худа не сделал. Везде по дороге за кустиками урядники да сотские понатыканы... По... по... постой! — заорал вдруг землемер. — Куда же это ты въехал? Куда ты меня везешь?

— Да нешто не видите? Лес!

«Действительно, лес... — подумал землемер. — А я-то испугался! Однако, не нужно выдавать своего волнения... Он уже заметил, что я трушу. Отчего это он стал так часто на меня оглядываться? Наверное, замышляет что-нибудь... Раньше ехал еле-еле, нога за ногу, а теперь ишь как мчится!»

— Послушай, Клим, зачем ты *так* гонишь лошадь?

— Я ее не гоню. Сама разбежалась... Уж как разбежится, так никаким средствием ее не остановишь... И сама она не рада, что у ней ноги такие.

— Врешь, брат! Вижу, что врешь! Только я тебе не советую так быстро ехать. Попридержи-ка лошадь... Слышишь? Попридержи!

— Зачем?

— А затем... затем, что за мной со станции должны выехать четыре товарища. Надо, чтоб они нас догнали... Они обещали догнать меня в этом лесу... С ними веселей будет ехать... Народ здоровый, коренастый... у каждого по пистолету... Что это ты все оглядываешься и движешься, как на иголках? а? Я, брат, тово... брат... На меня нечего оглядываться, интересного во мне ничего нет... Разве вот револьверы только...

Изволь, если хочешь, я их выну, покажу... Изволь...

Землемер сделал вид, что роется в карманах, и в это время случилось то, что он не мог ожидать при всей своей трусости. Клим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаше.

— Караул! — заголосил он. — Караул! Бери, окаянный, и лошадь и телегу, только не губи ты моей души! Караул!

Послышались скорые, удаляющиеся шаги, треск хвороста — и все смолкло... Землемер, не ожидавший такого реприманда, первым делом остановил лошадь, потом уселся поудобней на телеге и стал думать.

«Убежал... испугался, дурак... Ну, как теперь быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что дороги не знаю, да и могут подумать, что я у него лошадь украл... Как быть?» — Клим! Клим!

— Клим!.. — ответило эхо.

От мысли, что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде и слышать только волков, эхо да фырканье тощей кобылки, землемера стало коробить вдоль спины, словно холодным терпугом.

— Климушка! — закричал он. — Голубчик! Где ты, Климушка?

Часа два кричал землемер, и только после того, как он охрип и помирися с мыслью о ночевке в лесу, слабый ветерок донес до него чей-то стон.

— Клим! Это ты, голубчик? Поедем!

— У... убьешь!

— Да я пошутил, голубчик! Накажи меня господь, пошутил! Какие у меня револьверы.

Это я от страха врал! Сделай милость поедем!
Мерзну!

Клим, сообразив, вероятно, что настоящий разбойник давно бы уж исчез с лошадью и телегой, вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру.

— Ну, чего, дура, испугался? Я... я пошутил, а ты испугался... Садись!

— Бэг с тобой, барин, — проворчал Клим, влезая в телегу. — Если б знал, и за сто целковых не повез бы. Чуть я не помер от страха...

Клим стегнул по лошаденке. Телега задрожала. Клим стегнул еще раз, и телега покачнулась. После четвертого удара, когда телега тронулась с места, землемер закрыл уши воротником и задумался. Дорога и Клим ему уже не казались опасными.

СОДЕРЖАНИЕ

Смерть чиновника	3
Злой мальчик	7
Толстый и тонкий	11
В почтовом отделении	14
Жалобная книга	16
Брожение умов	18
Хамелеон	23
Винт	28
Затмение луны	33
Хирургия	36
Маска	41
Живая хронология	48
Канитель	52
Дипломат	56
Дачники	62
Налим	65
Заблудшие	72
Мыслитель	78
Унтер Пришибеев	83
Писатель	89
Пересолил	94

Редактор К. Малышева

Подписано к печати 24 июня 1944 г. А-7879. Тираж
100 000 экз. 3,4 уч. авт. л. Цена 3 р. Заказ № 331.

З-я типография «Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР. Москва, Красно-пролетарская, 16.

3 py6.

4